

КАЗАЧЬИЙ РОМАН

БЕЛАЯ СВИТКА



ПЕТР
КРАСНОВ

Петр Николаевич Краснов

Белая свитка (сборник)

Серия «Казачий роман»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5977975

Белая свитка: Вече; М.; 2006

ISBN 5-9533-1209-1

Аннотация

Имя Петра Николаевича Краснова (1869–1947) и сегодня многие произносят с большим уважением. Боевой генерал, ветеран трех войн, истинный патриот своей Родины – он до конца не изменил своим убеждениям и принципам. И когда пришлось повесить на стену верную шашку, Петр Николаевич нашел другое, не менее сильное оружие для борьбы – слово.

Роман «Белая свитка» можно назвать своеобразным ключом ко всему творчеству Краснова, он «...является как бы мечтой, вымыслом, построенном на фактах, на бывшем, существовавшем и существующем...». Белая Свитка – это альтер-эго самого Краснова, который всю свою жизнь положил на то, чтобы однажды услышать: «Господин атаман, когда прикажете начинать?...»

Содержание

Белая свитка	5
Часть первая	5
2	10
3	18
4	23
5	28
6	33
7	40
8	50
9	56
10	61
11	67
12	74
13	79
Часть вторая	81
2	85
3	90
4	96
5	102
6	107
7	111
8	116
9	119

10

125

11

131

Конец ознакомительного фрагмента.

133

Петр Николаевич Краснов

Белая свитка

Белая свитка

Часть первая

ОТЦЫ

День в санатории доктора Грюнделя начинался рано: в шесть часов утра. Ровно в шесть, внизу, в чистых подвальных комнатах, окружавших просторную кухню, выложенных по стенам кафельными пестрыми плитками и с кафельным же, рубчатый в клетку полом кремового цвета, трепетно и нудно звонил тонким серебряным звоном будильник.

Золотистоволосые, крепкие, здоровые горничные просыпались молчаливо, – доктор Грюндель требовал в санатории полную тишину, – они, одевшись в модные, короткие платья до колен, надевали белые, в плойку чепцы и передники и спешили на кухню. Полные икры в черных чулках подрагивали, и мягко шевелились мускулы голых рук под розовой, бархатистой кожей. Здоровье и радость точно шли вместе с ними.

В четверть седьмого по асфальтовой дорожке, влажной от росы, к кухонному крыльцу, оставляя змеиный след, подкачивал на велосипеде булочник с большой корзиной маленьких булочек и румяных хрустящих «хернхен»-подковок. На кухню, звеня ключами на поясе, спускалась фрейлейн Шален, старая барышня, экономка, и крепкой суровой ниткой резала на кухонном столе блестящее, покрытое водяными слезами сливочное масло, приготавливая аккуратные, ровные порции для гостей санатория.

Горничные: Марихен, высокая, румяная и красивая, Софихен с приветливыми, милыми, влекущими глазами, малютка Анна и коротышка Лизхен составляли на длинном столе деревянные подносы с чашками, тарелками, кофейниками, сливочниками, сахарницами и раскладывали булочки, масло и варенье по номерам, – куда одну, куда две порции.

На газовой плите мерно и ровно, с легким гулом, горели прозрачно огни, и кухня наполнялась запахом кофе и поджариваемых в масле сухарей.

Фрейлейн Шален посматривала на черную доску с номерами. В дверях, просительно поглядывая на фрейлейн, вертелся соседний черный такс. Он вилял длинным, прямым и тонким хвостом. Пускать собак на землю санатория было строго запрещено старым доктором Грюндедем. «Боже упаси: собаки – зараза». Фрейлейн Шален, горничные и сам такс отлично это знали. Но доктор просыпается в семь часов, а прием от восьми. В утренние часы, когда в верхних этажах

царил еще сон, такс был дорогим гостем на кухне.

В половине седьмого, – подносы еще не были готовы и кофе не кипел, – раздался долгий, настойчивый звонок и выпрыгнула цифра. Звонили госпожи Костриц, две толстые дамы, не могшие помириться с тем, что воды надо пить натощак, и начинавшие день ранним завтраком.

Красивая Марихен сидела у двери на корточках, выпятив полные, круглые ноги, и заставляла такса служить и просить лапками. Такс торопился схватить из ее розовых пальцев кусок поджаренного сухаря. Она ударяла его по мордочке. Софихен со страданием на добром веснушчатом лице смотрела на такса и на Марихен и жалобно говорила:

– Hauen ist verboten¹.

– Марихен, – сказала фрейлейн Шален, – одиннадцатый звонил. Несите фрыштык...

Марихен гибко выпрямилась на сильных ногах и стала наливать кофе в кофейник.

Зазвонил снова колокольчик. На черном глянцевом фоне выскочила белая цифра пять.

– Это русский, что приехал вчера... Софихен, не забудьте передать ему Anmeldungsblatt², – сказала фрейлейн Шален. – Впрочем, я сама ему принесу и покажу, что писать.

Софихен, бросив таксу кусок сахара и потрепав его за длинные шелковые уши, пошла за подносом.

¹ Запрещается бить.

² Листок для прописки.

– Господину генералу чай, – сказала фрейлейн Шален. – Господин доктор сказал: жидкий.

Софихен с подносом стала подниматься по лестнице. В санатории царила ничем не нарушаемая тишина. В большой приемной, куда выходили двери некоторых номеров и куда упирался высокий коридор, пол был сплошь застлан мягким коричневым толстым бобриком. В мутном свете, проникавшем через одно окно, заслоненное густыми кустами цветущей сирени, виднелся стол с вазою, где сладко пахли ландыши. Под ландышами были аккуратно разложены свежие газеты и иллюстрированные журналы. Оранжевая «Die Woche» с коричневыми буквами и пахнувшая красками свежая «Illustrierte Zeitung» с изображением Гинденбурга в парадной форме на какой-то церемонии лежали наверху.

В приемной была утренняя прохладная сырость и, казалось, притаились по темным углам печальные думы ожидавших приема больных. За высокими белыми без портьер дверями чуть слышались ритмичные движения и точно всплески голого тела. Доктор Грюндель делал свою утреннюю гимнастику. В углу, у окна, за маленьким столиком с пишущей машинкой сидела худенькая стриженная девица с тонким горбатым носом, – секретарша доктора, фрейлейн Шпис.

Софихен, легко держа одною рукою широкий поднос, уставленный посудой, неслышно скользнула в коридор и постучала у двери с номером пятым.

– Войдите, – раздалось по-русски, и сейчас же хрипло до-

бавили: – Herein.

Софихен нажала на ручку двери. Дверь была заперта. Раздались шаркающие шаги, щелкнул ключ, дверь открылась.

Жилец, в черных в белую строчку штанах и в туфлях, в рубашке без воротника и галстука, впустил Софихен. Он был высокого роста, полный и старый. Седые, редкие волосы беспорядочными прядями сбивались к ушам на лоб. Не бритый со вчерашнего дня подбородок шершавился седою щетиною, короткие стриженные седые усы торчали под носом. Он смотрел на бодрую, веселую, пышущую здоровьем Софихен, словно ощупывая ее мутными глазами от ее белой накрахмаленной накладки на бронзовых волосах до полных крепких ног, упруго выходящих из-под передника. В его глазах были удивление и зависть.

Кровать, широкая, чистая, «гигиеническая», блестела металлическими прутьями и чистым бельем. Пуховое одеяло было скомкано. Белые подушки разметаны.

Софихен прибрала на столе пепельницу, сдвинула в сторону газеты, развесила на стуле валявшийся на столе жилет и расставила чайники, блюда, тарелки и чашку.

– Прикажете открыть окно? – сказала она. – Очень хорошая погода.

– Да, откройте, – не спуская с нее тяжелого взгляда, сказал гость.

Софихен отдернула прозрачную желтую занавесь и растворила обе половины окна. В душную спальню, пропитан-

ную табачным дымом, легко и приятно вошла утренняя весенняя свежесть. Она принесла запах сирени, мокрой листвы и только что скошенной травы. За небольшим палисадником с цветущими розовыми рододендронами была улица, за нею парк. Громадные каштаны были все в свечках белых восковых цветов. Раскидистые липы аллей уходили вниз. Влево, на обширном лугу – «ремизе» – розово распускалось железное дерево.

Там косили едва поднывающую траву, и длинная вереница пестро одетых девушек граблями ворошила ее. Снизу из-за парка, из города, несся мерный и ровный звон. Звонили в лютеранской церкви.

Кругом были мир, тишина и счастье здоровой, ничем не волнуемой жизни.

2

– Фрейлейн Шален просит позволения прийти к вам, чтобы заполнить Anmeldungsblatt, – сказала Софихен, в два-три незаметных движения прибравшая спальню и придавшая ей опрятный вид.

– Хорошо, – сказал постоялец и тяжело опустился в кресло. Он уже допил свою чашку, когда пришла фрейлейн Шален.

Худенькая, неопределенных лет, с гладко приглаженными русыми волосами, с покорным выражением серых глаз,

она подала узкий розовый листок и попросила заполнить его. Постоялец быстро записал сведения и подал листок.

Фрейлейн Шален читала, проверяя, все ли записано, что надо. «Alexis... Vatername – Sergius... Familienname – Baholdin... Geboren in Jahre 1867... Aus U.S.S.R.».

– Что это значит? – спросила она, указывая на показавшиеся ей странными буквы.

– Union sovietiques, socialistiques republicues, – скучающе сказал постоялец.

– Что это такое?

– Вы не знаете?

Простые глаза смотрели ясно и честно. Под их взглядом Бахолдин скосил свои мутные глаза.

– Не знаю.

– Ну, если хотите, Россия, – сказал Бахолдин.

– Ах, так... Советская... Она перебрала в руках листок и зазвенела ключами на поясе. Ее лицо покрылось красными пятнами. Она была сильно смущена. С трудом выдавила из себя:

– Вам придется платить за неделю вперед.

– Почему?

– Такое правило.

– Для всех?

– Да... Нет... Хозяин просил, чтобы... если русские... из России...

– Ну а если бы я был из Франции?

– Тогда другое дело... Я не знаю... Это хозяин... Я вечером пришло счет.

Фрейлейн Шален, совсем уничтоженная своим смущением, исчезла в дверях.

Бахолдин откинулся в кресле, стал было намазывать сдобную подковку маслом и бросил. Он смотрел в окно, сквозь тихо шевелящиеся ветки сирени, на синее небо с белыми легкими прозрачными облаками, на густую зелень парка, на луг, бегущий вниз к могучим, раскидистым, далеким каштанам.

«Пора привыкнуть», – тяжело зашевелилась в его мозгу мысль. Ему вспомнилось, как на польской границе румяный, молоденький мальчик-офицер в тяжелой фуражке, с прямым, окованным металлом козырьком, при сабле, с цветными ленточками орденов на серо-желтом френче, с нескрытой брезгливостью взял в руки его советский паспорт и долго рассматривал польскую визу.

«Им-то что, – думал Бахолдин. – Облопались, благодаря нам, русскими землями. Если бы не мы, была бы маленькая скромная Польша, десяток привислинских губерний, и только. И была бы и этим счастлива. Благоговела бы перед Россией, молилась бы на нее. Старшая сестра... Да... И собор православный не посмели бы тронуть в Варшаве. Побоялись бы России. Советская республика дала им все... Почти: от моря и до моря... Так получили, как в Варшаве никогда и не мечтали. Вот и собор они разрушили и православ-

ную церковь прижимают, а мы молчим. Кажется, с почетом должны были бы меня встречать и провожать. А нет... почета не было. Не было даже обычного у чиновников равнодушия: было презрение... На немецкой границе таможенный досмотр ничьих чемоданов не тронул. А мой чемодан чуть не насквозь смотрели... Советский... При этом даже любезны были... но опять, сквозь любезность, презрение. А ведь друзья... И Брестский договор, и Рапалло... Все отдано немцам, все как они хотели. И здесь опять... Советскому не доверяют... Советский – деньги вперед. Для всех мы страна воров и мошенников».

Бахолдин поджал нижнюю губу.

«Не надо раздражаться... Думать не надо... Это все кажется от большого сердца».

Он давно положил намазанную маслом подковку прямо на скатерть и забыл про нее. Как только подумал о том, что не надо раздражаться, что раздражение вредно, что думать не надо, так думы непрошенным вихрем влетели в больную голову, закрутились там, заплясали и уже нельзя было ни остановить их, ни прогнать.

«Неужели я так уже плох? Шестьдесят лет. Что же такое, что шестьдесят? Гинденбургу минуло восемьдесят, а он президент огромного государства. И какой президент!.. Вчера в газетах было про одну старуху на Корсике, что она умерла ста одиннадцати лет. Ну, сто одиннадцать это слишком. Но почему бы мне не дожить до восьмидесяти четырех, скажем...

Это еще двадцать четыре года... Почти столько, сколько я прожил после Японской войны. В Японскую войну женился... Был здоров двадцать четыре года тому назад. Почему же нельзя быть здоровым и сейчас, если еще осталось жить целых двадцать четыре года. Четверть века?.. Отлично можно. Только вот сердце... Плохое... слабое... расширенное сердце».

Бахолдин вспомнил, как вчера, почти прямо с вокзала, он по особой рекомендации самого Крестинского попал в санаторий доктора Грюнделя и на его осмотр.

Он был принят в шесть часов вечера, последним. Перед ним из кабинета вышла очень высокая и толстая дама в старомодной прическе. Точно овальная золотая дыня была у нее на голове. Бахолдин вошел в кабинет. Доктор, без пиджака, в жилетке под длинным, белым, чуть накрахмаленным халатом, сверкая твердыми белоснежными манжетами, мыл в углу руки. В большом кабинете, уставленном многими приборами, значения которых не понимал Бахолдин и которые казались ему потому страшными, терпко пахло особым «докторским» запахом – формалином и мылом... Нарядная сестра милосердия, с сухим, бесстрастным, красивым лицом, перетирала чистым полотенцем черные воронки стетоскопов, и коричневые гуттаперчевые трубки, точно длинные земляные черви, змеились вдоль ее белого передника.

Доктор кончил мыть руки, кивнул седую голову с длинной волнистой бородкой и попросил садиться. Он спраши-

вал то, что всегда спрашивают доктора. Сестра записывала ответы. Он спрашивал о курении, о спиртных напитках, о том, что заставило его, Бахолдина, приехать в санаторий.

– Хорошо... Разденьтесь... Посмотрим.

Сестра вышла в соседнюю комнату.

Доктор приступил к осмотру Бахолдина, как часовщик приступает к осмотру часов. Он прикладывал шершавое, волосатое, холодное ухо то к груди, то к спине, потом, вооружась стетоскопом и часами, слушал, передвигая эбонитовую чашечку по груди, то выше, то ниже. Он взял толстый синий карандаш и чертил им по телу Бахолдина кривые линии, ставил какие-то кружки и запятые. Громадным циркулем с резиновыми шариками на концах и с дугою с делениями он мерял Бахолдина от лопатки к нижнему ребру. Лицо доктора было озабочено, мохнатые седые брови сдвигались и раздвигались, лоб покраснел и покрылся морщинами. Доктор диктовал сквозь открытые двери цифры и свои замечания. Над головою доктора, то наклонявшегося, то выпрямлявшегося, в зеркале за столом Бахолдин видел отражение своего тела. Оно показалось ему слишком белым, как у трупа. Синие карандашные линии и значки усиливали белизну кожи. С боков над ребрами висели толстые, дряблые складки. Сосцы на груди провалились и были почти так же белы, как и грудь. Глядя в зеркало на свое тело, Бахолдин вдруг понял: плохо.

Осмотр шел к концу. Доктор добросовестно и внимательно, не жалея времени, проделал все то, что полагается про-

делать доктору. Он положил Бахолдина на кушетку, накрыв его чистой, нагретой простыней, он мял и тискал ему живот, вызывая неприятное ощущение сосущей боли, он стянул ему руку повыше локтя резиновым обручем с трубками и на особом манометре следил, как колебалась тонкая стрелка, и его красивое лицо в бороде становилось серьезным.

– Можете одеваться, – сказал он.

Он прошел в соседнюю комнату, взял листок, исписанный сестрою, и стал вписывать в него свои замечания.

– Что, доктор, очень плохо? – спросил, стараясь быть равнодушным, Бахолдин, повязывая галстук у зеркала. Он видел хмурое лицо доктора и как шевелились на нем темно-серые мохнатые брови.

– Как сказать, – протянул доктор. – Очень плохо никогда не бывает. Сердце сильно расширено. – Доктор показал пальцем на стоявшую в углу раскрашенную гипсовую модель сердца и добавил: – В два раза больше этого... Но это ничего. Вы знаете, иногда чашку разобьешь, потом склеишь и она больше новой живет. Наши источники чудодейственны... Тут и не такие больные поправлялись.

Он кончил писать и, подавая листок одевшемуся Бахолдину, сказал:

– Главное: не волноваться. Никаких газет не читать. Вы из советской... – доктор не знал, как сказать. Не хотел, видно, сказать: – России.

– Да.

– Так никаких газет не читайте. Ни русских, ни наших. Не думайте ни о чем. Не надо думать.

– Как же, доктор, не думать?

– А вы... не думайте, и все... Живите растительной жизнью. У нас тут парк прекрасный. Но... ходить тоже нельзя... Так: десять минут тихим шагом, и не в гору. Потом сядьте. Сидите – смотрите. Зяблик прилетел, прыгает, смотрите на зяблика... Дама идет с собакой – полюбуйтесь собачкой... Не дамой... И в голове, чтобы пусто было... Впитывайте в себя чистый воздух, дышите ровно, мерно и глубоко. Полчаса посидели, и опять пять минут тихим шагом. К пруду. Там лебеди, австралийские утки. Смотрите на них. Бог много даров рассыпал по земле. Немецкий гений собрал их здесь. Пользуйтесь ими. На музыку пока не ходите. Музыка тоже волнует. Вам сейчас главное это успокоить сердце, которое слишком раздуто и уже не может работать.

– А ванны?

– Ванны еще погодим... У нас сегодня понедельник. Через три дня, в четверг, опять ровно в 6, приходите ко мне. Тогда посмотрим. Может быть, можно будет легенький thermal вам прописать, минут на шесть... Но это мы увидим...

Доктор проводил до дверей Бахолдина. Уже звонили в гонг к ужину.

Бахолдин прошел в свой номер. Ему подали ужин в его комнату. Он не притронулся к нему, разделся не спеша, в несколько приемов, и лег в постель.

Главное: не думать.

3

«Да, конечно, это конец».

Бахолдин не опустил ставней и только задернул желтую легкую занавеску. На улице за окном горел фонарь. Свет от него мутно входил сквозь занавеску и создавал в комнате подозрительный, тревожный, точно населенный живыми существами полумрак.

Смерть глядела отовсюду. Она точно подстерегала Бахолдина, стараясь внезапно и неожиданно схватить его. Она то выставляла свой страшный череп из угла, где висели пальто и шляпа Бахолдина, то блистала лезвием косы под самым потолком. Она шелестела совсем подле, по мягкому ковру. Садилась на корточки, пряталась за стулом с брошенным за него платьем.

Бахолдин знал, что смерть это – «ничего». Это конец, крышка, полное небытие. Не Нирвана, ибо в Нирване все-таки что-то есть. Бахолдин читал где-то: когда спросили Будду, что такое Нирвана, он сказал: «Понять Нирвану нельзя. Можно только постигнуть. Объяснять же лишнее, ибо объяснение ничего не дает и не подвигает по пути познания совершенства в Правде». И тогда же, когда прочитал это суждение Будды Бахолдин, он решил: «Никакой Нирваны нет. Просто и ясно: нет ничего». Была клеточка, росла, множи-

лась, почковалась, создавая органы, давая ощущения и мысли, шевелилась под напором крови, двигала мозгами, думала, образуя свое «Я»... И вот сердце расширилось, стало как старый растянутый пульверизатор, не подает больше крови, куда надо, и нельзя думать и волноваться. Ноги и руки стали холодными, тяжелыми, скользкими и нечувствительными, как у мертвеца. В ушах ныла какая-то звенящая струна, и нудно, тяжело под самой лобною костью болела голова.

Бахолдин стал думать, как и когда он умрет. Будет ли это удар и он лишится языка, способности двигаться, станет полудиотом, как стал Ленин, евший свои нечистоты и мычавший в ответ на замечания?.. Или он уснет и не проснется?.. Однако как ни старался понять, как это он уснет и не проснется, не мог. Сквозь строй разумных выкладок пробивалось, как травка на погорелом черном месте, соображение: «Если есть конец жизни, есть конец и смерти... – И сейчас же он думал: – А как же клетчатка? Она будет распадаться, разлагаться. – И тут же мысль забегала вперед: – А что, если я буду чувствовать и ощущать это распадение?»

Бахолдин давно был атеистом. Последние годы, занимая видный пост в коммунистическом государстве, он не только укрепился в своем атеизме, но даже приучил себя издеваться над Богом и над верою, стараясь в своем цинизме превзойти самых ярых безбожников. Несколько раз, с каким-то волнующим ощущением сладострастного вызова, он писал и отсылал в «Безбожник» стихи, полные такого издевательства,

что у наборщиков, набиравших эти стихи, холодели руки.

Это было: карьера...

Карьера и деньги влекли его всю жизнь.

«Жареным пахнет...» «Гони монету», – вот что заставляло его работать, учиться и служить.

Выйдя из военного училища в полк, он не полюбил полка, не слился с ним, не стал участником веселых офицерских пирушек и резвых шалостей. Он не увлекся работой над солдатом, просвещением новобранцев, не старался заслужить похвалу ротного, одобрение полкового командира, не щеголял гимнастикой, не стремился попасть в охотничью команду, чтобы с людьми-молодцами стать и самому молодцом. Он не увлекался ни танцами, ни музыкой, не искал романов с дамами гарнизона, не горел любовью, не мучился ревностью.

Он сразу засел за книги. Он готовился поступить в Академию. Без Академии и вне Академии нет карьеры. Нет карьеры, нет власти, нет и денег.

Бахолдин блестяще окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба, тогда еще помещавшуюся на Неве у Николаевского моста. Он усвоил военные науки и с ними получил все пути к карьере.

Он понял, что карьера – не строй, не фронт, не тревожная, полукочевая жизнь с солдатами, полная трудов и лишений, но большой штаб с тишиною высоких, просторных кабинетов, из чьих широких окон видна большая площадь. Самые стены так толсты, что они кладут какой-то предел между ка-

бинетом и площадью, и оттого дворец и колонна памятника, видные снаружи, кажутся далекими. В этих кабинетах, где пахнет дорогим табаком и пылью бумажных папок с делами, надо проводить недолгие часы, а остальное время посвящать «карьере».

Бахолдин оценил все. У него были тонкий ум и большое чутье. В длинном, в талию, черного сукна сюртуке, сшитом у Норденштрема, с академическим значком и серебряным аксельбантом, в узких брюках с тонким кантом и со штрипками, изящный, надушенный, с коробкой дорогих конфет от Балле или с букетом Ремпеневских роз, он умел появиться в гостиной жены высшего начальника, сановника или министра, рассказать новость и по поводу нее ввернуть красивое и умное слово.

«Le beau Baholdine»³ – появлялся везде, где было высшее общество. Он посещал салон графини Фрицевой и был своим у баронессы Шенграбен. К нему льнули иностранные аташе. Дамы счастливо улыбались, когда он подходил.

Он умел все и охотно брался за все. Он устраивал благотворительные концерты, базары и маскарады. Он разрабатывал планы осенних маневров. Он делал сообщения, руководил военной игрой, писал статьи в газетах и журналах. При всем этом он умел, когда нужно, остаться в тени. С блестящим и ярким талантом он составлял «всеподданнейшие доклады» для своего начальства, нисколько не тревожась, что

³ Красавец Бахолдин.

под его работой стояла не его подпись.

В своем служебном кабинете он появлялся часа на три, между полуднем и четырьмя часами дня, но он умел работать, когда нужно, всю ночь.

За его работоспособность и готовность отдать, кому нужно, свою работу его сослуживцы, офицеры генерального штаба, прозвали его «паровым ослом».

Однако он вовсе не был ослом. Он умел тонко прислушаться к мнению начальника, угадать его желание, и, все равно, сходилось ли оно с его мнением или было ему обратно, он писал работу в духе, желательном начальнику, с одинаковой убедительностью и с одинаковым пафосом.

Когда в штабе кто-нибудь из старших терялся, как ответить на какой-нибудь запрос, как разработать новый проект, говорили всегда: «Ничего. Надо поручить Бахолдину. Бахолдин сумеет».

Во имя карьеры Бахолдин отрекся от себя. У него не было личных убеждений и это ценилось в нем особенно.

«Бахолдин беспристрастен...» «Бахолдин бесстрастен...» «Надо попросить Бахолдина подготовить в прессе новый проект».

Бахолдин с одинаковой готовностью писал о значении красивой, пестрой, старой формы для духа армии, о количестве калорий в солдатской пищевой даче, о единстве военной доктрины, о лыжах, о мундштуке, о стратегии Леера, о количестве материи, потребной для солдатских портянок, о

маневрах во Франции.

Все, что прикажут. Все, что требовала жизнь. Все, что давало карьеру. Он сделал карьеру. В тридцать лет он был полковником. Холодно, сдержанно и сухо, «в белых перчатках», он откомандовал на ценз полком. В двухтысячной солдатской массе он не вызвал ни любви, ни ненависти. Точно и не было его. И когда он сдал полк, солдаты уже не могли вспомнить его фамилии. Восемьдесят офицеров полка едва знали его в лицо. Он и к ним подходил «в белых перчатках». Иногда он появлялся в полковом собрании к завтраку, сопровождаемый почтительным, копировавшим его одежду и манеры адъютантом, бросал кому-нибудь из офицеров два-три небрежно ласковых слова и садился в голове стола между штаб-офицерами. Он даже не знал по фамилиям всех офицеров. Зато он устроил «военную игру», на которую пригласил свое начальство из округа. На экономию от солдатского пайка он выстроил унтер-офицерский клуб и солдатский театр. Тогда это было модно: сближение с солдатом, своего рода «хождение в народ». Все это, впрочем, как-то осталось незаконченным, незавершенным. Не было времени. Он томился в полку, торопясь вернуться в приятную теплоту своего штабного кабинета. Живые люди тяготили его.

4

Были, конечно, и женщины. Любви тут не было. Бахол-

дин считал, что сантименты вредны и для карьеры и для здоровья. Все должно быть подчинено разуму. Потому, когда разум указывал ему, что есть опасность полюбить, когда он начинал слишком долго останавливать свой взгляд на какой-нибудь одной женщине, он ехал на Итальянскую в светский дом свиданий и там оставался несколько часов, выбирая всегда разных.

В свете на него обращали внимание. Жены товарищей восторгались им: *le beau Baholdine!* Он был и в самом деле красив в полном расцвете своей мужской силы. Ни полон, ни худ, всегда элегантно и модно одет, остроумен. Он был на виду. Могли бы быть и романы. Но их не было. Романы могли завести далеко и помешать карьере. Женщины требовали чувства. Бахолдин гасил в своем сердце всякое чувство и был осторожен в ухаживаниях. Тем больше им увлекались, и восторженный дамский хор сопутствовал его карьере.

Приближался сороковой год, – год для решительной, быстрой карьеры. Ему намекнула баронесса Шенграбен, что ему надо жениться. Губернаторы, генерал-губернаторы, атаманы казачьих войск, командиры корпусов должны быть женаты. Так легче получить место, легче сделать карьеру. Требовались не только губернаторы, атаманы и командиры, но и губернаторши, атаманши и командирши. В семье легче устроить необходимые «приемы».

В три недели вопрос был решен. Бахолдин сделал предложение графине Тамаре Дмитриевне Сохоцкой и получил

согласие. По отцу полька, по матери русская, православная. Тамара Дмитриевна была богата и очень красива тою славянской, чуть полной красотой, которая делает «представительных» дам. Такая именно была нужна Бахолдину. Она засиделась в невестах. Ей шел 27-й год, и она с радостью приняла предложение великолепного Бахолдина.

Для брака надо было побывать у исповеди. Бахолдин, лет двенадцать не бывший у исповеди, – в штабе за этим не следили, – пошел в церковь. Холодно и чинно он заявил, что ему нужно быть у исповеди. Когда он стал у аналоя, он равнодушно окинул глазами крест и Евангелие и вопросительно взглянул на священника.

– Давно ли вы были у исповеди и у святого причастия? – кротко спросил священник.

Бахолдин не ответил ничего. Он так строго посмотрел на священника своими серыми, немигающими глазами, что бедный батюшка смутился, завозился руками под епитрахилью, предложил исповеднику поцеловать крест и Евангелие и поспешно стал читать разрешительную молитву.

К причастию Бахолдин не пошел вовсе. Ему вовсе не было надобно таинственное общение с Христом, великая извечная тайна. Ему надобно было только свидетельство о бытии у исповеди, и он получил его тогда же.

Свадьба была торжественная. С высокопоставленными особами, с Высочайшими посаженным отцом и посаженной матерью.

Это тоже было звено карьеры.

Когда через два года у Бахолдина родилась дочь, названная Светланой, Бахолдин не обрадовался и не опечалился. Родительское чувство в нем не заговорило. Появление ребенка было в порядке вещей. Это входило в понятие карьеры.

Дочь росла. Сначала ее приносили к нему в кабинет поздороваться с папой. Потом она приходила для этого сама, нарядная, как куколка, и синими, не мигающими глазами с испугом и любопытством смотрела на отца. «*Bonjour, papa*». – «*Bonjour, ma fille*». Отец больше ничего ей не говорил, не ласкал ее и отпускал сейчас же в детскую. Она росла возле матери и была чужой отцу.

Карьера приблизила Бахолдина к Царю. Ему поручали делать доклады, он привозил к Государю бумаги своего начальника. Почтительно, более того – раболепно, он делал доклад, стараясь угодить Государю и не думая о цели доклада. После он, где нужно, восторженно, с умилением, радостным голосом рассказывал, что ему сказал Государь и как он ответил. И он же, попав в другое общество, умел в почтительный рассказ о Государе вложить чуть заметную насмешку, едва уловимую иронию. Он не любил Государя, как не любил никого, кроме себя.

Однако Бахолдин скоро почувствовал, что путь карьеры, раньше такой простой, прямой и быстрый, стал извилистым и трудным. Явилась Государственная Дума, заговорила об-

щественность. Бахолдин устроился докладчиком при Думской комиссии. Появились новые знакомства, новые связи и вместе с ними новые пути. «Запахло жареным» там, где, казалось, и пахнуть не могло. Бахолдин стал необходим для министерства. При столкновениях с Думой, при нападках ее членов он умел так округлять и смягчать все недоразумения, так представлять доклады Думе, а думские запросы министерству, что взаимная работа казалась возможной. – Это надо поручить Бахолдину... Бахолдин выкрутится... У Бахолдина были квартира в двенадцать комнат, пара лошадей, казенная машина, адъютанты, ординарцы и два телефона. Он достиг, чего хотел. Впереди было назначение маленьким царьком на очень богатую окраину. Его проталкивали туда с редким единодушием и Дума и Министерство. Его карьера завершилась. Ум не даром работал. Чувства были не напрасно подавлены.

В эту бессонную ночь, в тишине немецкого курорта все это проносилось в голове Бахолдина. Проносилось и другое.

Он будто слышал в этой чужой немецкой комнате торопливые шаги своей дочери, девятилетней Светланы, как слышал он, когда она пришла в последний раз в его кабинет. Синие глаза смотрели тогда с непонятной мольбой. В загнутых вверх ресницах блистали слезы.

Она ничего тогда не сказала ему, но и сейчас Бахолдин чувствовал на себе немой детский упрек ее взгляда.

Не тогда ли, не после ли того и началась у него эта болезнь,

которая привела его сюда, на немецкий курорт?

5

Фонарь за окном горел всю ночь. Здесь с этим не считались. Он мешал спать Бахолдину. Ему казалось, что под фонарем стоит кто-то и стережет его. Всегда кто-то должен стеречь, подслушивать и подглядывать. Непривычная тишина томила. Тут по ночам все спали. Тут, видно, не было ничего такого, что надо делать ночью. Прогудит где-то далеко, за парком, поезд. Протяжно, точно призывая кого-то или посылая привет спящим росистым лугам, просвистит паровоз и смолкнет. Нарушенная было тишина станет еще заметнее. Долго потом звенит в ушах, потревоженных этим неожиданным шумом.

За окном, в зелени кустов, пошевелится птица. Черный дрозд вполголоса просвистит что-то короткое, точно спросит о чем-то спросонья. И снова тишина. В эту тишину опять и опять входят непрошенные мысли.

Пришла Великая война. Карьера потребовала Бахолдина на войну. Он сразу устроился в большом штабе. В уютном, теплом кабинете городского дома, разведя на блюдечках кармин и синюю прусскую краску, он рисовал на плотной бумаге неправильные овалы с цифрами и продвигал от них тонкие заостренные стрелы, создавая стратегические планы. В эти часы он не видел грязной, дождливой осени, что стояла

за окном. Он не видел раскисшей, размокшей дороги, разбитого обозами шоссе, конских трупов в залитых грязью ямах, повозок, затонувших в иле. Он не видел бесконечного потока людей в тяжелых, топорщащихся мокрых шинелях и грязных свалаявшихся фуражках. Он не слышал глухого гула голосов, побрякивания колес походных кухонь. Он не думал о том, что загрузшая кухня делала четыреста человек голодными, оставляла их на ночь под дождем в грязи с пустым желудком.

Он спокойно вел на бумаге свои линии и стрелы. А там, восьмериками, напряживая зады до морщин на коже, усталые лошади тянули низкие пушки. Там облепленные грязью люди вцеплялись в колеса и хрипло кричали: «Ну, разом!.. Ать!.. Два!.. Подай еще!.. Подай еще, родные!..»

Когда ему случалось в автомобиле попасть в такую колонну, он гнал шофера и несся с непрерывными гудками через солдатскую толпу, расплескивая жидкую грязь и брызжа ею на шинели и на лица людей. Он брезгливо морщился, вдыхая тошный запах пота и кухонного чада, и торопился обогнать колонну. Он никогда не задумывался о том, что это люди, идущие в бой, на раны, на смерть. Он никогда не задумывался о том, что, может быть, и ему надо идти с ними туда, где белыми мячиками вспыхивали разрывы шрапнелей и где точно вода кипела в громадном котле от частого ружейного огня.

Его «я» относилось к этому со спокойным отрицанием.

«Начальник не может рисковать собою. Начальник должен беречь себя», – говорил он своему начальнику штаба. Его нисколько не интересовало, что будет с этими людьми, так покорно идущими навстречу смерти. Ему ведь незачем туда идти. Не для того он учился, чтобы умирать «на поле брани». И он сворачивал назад, как только шрапнельные разрывы становились близкими. Он возвращался в теплый покой и тишину штабного помещения и опять придумывал комбинации со стрелами. Цель всех этих движений, бои, самая победа его не трогали. Он думал только о том, как угодить тем, от кого зависело его новое повышение, более спокойное и выгодное место.

Своим тонким чутьем он уловил в середине войны, что для некоторых целей поражение на фронте было бы выгоднее, чем победа, и тогда карминные и голубые стрелы стали направляться им вразброд, так, чтобы они не давали победы. Он подновил связи с думскими деятелями, он узнал то, что ему было нужно, и обещал свое содействие. Пахло дворцовым переворотом, может быть, революцией. Это давало возможность играть на два фронта. Если удастся, он займет место Ананьина. Если сорвется, он раскроет карты, пойдет с усмирителями, и тогда наверно станет на место Эйхвальда.

Революция совершилась. Она, однако, не принесла ему тех выгод, каких он от нее ожидал. Место Ананьина совершенно неожиданно дали Елагину. Дума не играла никакой роли, и все его думские связи оказались ни к чему. Времен-

ное правительство растерялось и позабыло о Бахолдине. Он снова приехал в Петроград и опять стал принохиваться, где «пахло жареным». Поздней ночью, на извозчике, с поднятым верхом, он приехал в Смольный и явился в совет солдатских и рабочих депутатов.

В интимной компании он до самого утра, четыре часа, говорил о том, что надо сделать на фронте, говорил о своей любви и верности народу, говорил о том, что он был слеп и заблуждался всю свою жизнь, служа «проклятому царизму». Теперь он прозрел. Он сорвал с себя в экстазе аксельбант и ордена и назвал погоны «печатью рабства». «Сам» Троцкий жал ему руку. Ему было обещано все, что он ни пожелает. На другой день он уехал на фронт и там отдал все управление комиссарам и совету солдатских депутатов. Он разрешил издание «Окопной Правды» и стал ждать.

Наступил октябрь. Его карта выиграла. Оставалось получить выигрыш. Бахолдин прибыл в Петроград с заявлениями о своей верности. Его приняли восторженно. Ему поручили написать письма его товарищам, другим генералам Русской армии. Он написал. Одни ему не ответили, другие ответили коротко и четко, одним словом: «подлец», третьи пространно и туманно обещали идти с новым правительством, если, если и если... Больше всех его огорчили промолчавшие. «Подлеца» он съел. Он давно привык по некоторым редким намекам чувствовать, что он и раньше был в глазах многих подлецом. Но его «я» было неизменно спокойно. Он

всегда был достаточно окружен преданными и льстящими ему людьми, и ему было решительно все равно, что о нем думают вдали.

Однако заслуженный выигрыш упорно убегал от него. Тех выгод, каких он ожидал: высокого положения, больших денег, он не получил. Казалось, связавшись с большевиками, он наложил на себя какое-то заклятие. Между тем дома разыгралась семейная драма. Его жена, узнав о его решении, заявила, что она этому не сочувствует, что она, графиня Сохоцкая, не может допустить, чтобы ее муж служил «жидам и хамам», и что она требует, чтобы он порвал с ними и ехал на юг. Бахолдин не ожидал такого протеста и был им захвачен врасплох. Он попробовал принять невозмутимый вид и в первый раз удостоил жену длинной серьезной беседы. С наигранной убежденностью он и ей говорил, что настал новый век, когда личность потеряла свое значение, что надо служить народу и что всякий честный человек должен идти с большевиками, потому что только они могут дать счастье всему народу.

– Ты лжешь! – воскликнула всегда раньше спокойная и сдержанная Тамара Дмитриевна. – Ты лжешь, как лгал всю твою жизнь. Знай, если ты не переменишь своего решения, я брошу тебя. Я возьму Светлану и уеду, куда глаза глядят. С тобою, продавшим душу дьяволу, я жить не стану.

Бахолдин презрительно пожал плечами и вышел. Он не выносил истерик. Упоминание же о дьяволе было только

смешно.

«Все они так... Поплачут и передумают», – говорил он себе. Однако Тамара Дмитриевна исполнила свою угрозу. Она исчезла с дочерью, гувернанткой-француженкой и со всеми своими драгоценностями. Тогда ходили особые «украинские» вагоны, и она, пользуясь тем, что ее родители были поляками с Украины, устроилась туда и уехала тайно, так что ее не могли задержать. Бахолдин поморщился при этих воспоминаниях и повернулся на бок, лицом к окну.

Светало. Черные дрозды за окном переговаривались короткими певучими фразами, точно спрашивали друг друга, как провели ночь, или озабоченно совещались о том, что делать днем. Солнца еще не было. За окном чуялся тот нежный свет без теней, какой бывает перед восходом. Ни один людской шум не доносился ниоткуда. Крепко спали по домам люди.

«Надо наконец спать и мне, – подумал Бахолдин. – Нельзя волноваться. Нельзя думать. Надо заставить замолчать эти глупые мысли».

А мысли шли.

6

Того «жареного», что хотел получить от большевиков Бахолдин, той «монеты», на какую он рассчитывал, он так и не получил.

Раньше всякий шаг его вперед знаменовал улучшение его благополучия, увеличения его свободы. Из трех комнат, где-то на Песках, он переехал в свое время на Троицкую, в квартиру из пяти комнат с денщиком и горничной в наколке. Потом, когда женился, он получил квартиру в двенадцать комнат на Дворцовой площади, с видом на сад. Жена и маленькая дочь, бонна и гувернантка, денщик, лакей, кухарка и горничная берегли его покой и охраняли его «я». Когда он возвращался домой, говорил, что он устал, и ложился на диван, невидимые руки снимали с него заботливо ботинки, кто-то неслышно притворял дверь. Кругом ходили на цыпочках. «Папа спит...» «Барин изволили лечь...» «Их превосходительство отдыхают...» Малейший каприз его исполнялся. Были деньги, были люди. Были верная, любящая жена, малютка дочь, простор высоких комнат, тишина и уют семейной квартиры.

Жена и дочь ушли. Разошлась прислуга, и Бахолдин остался один с неопрятным вестовым, назначенным к нему. В квартиру вселили жильцов, оставив Бахолдину всего две комнаты. «Монеты» давали мало, да и купить на нее было нечего. В квартире была грязь и не было покоя. Но, главное, не было свободы. Главное было в том, что его «я» было угнетено и подавлено.

Раньше Бахолдин был свободен. Чем выше поднимался он по служебной лестнице, тем свободнее он становился. Начальство в его совесть не заглядывало. Верил он в Бога или

не верил, ходил в церковь или нет, соблюдал посты и обряды или не соблюдал – это никого не касалось.

Теперь ему приказали: не верить, не ходить в церковь. Ему это было легко, он и так не верил, но это все-таки было насилие над совестью. Его службу, его работу из тиши кабинета точно вынесли на улицу. Он должен был выступать на митингах, он должен был ходить на демонстрации, он должен был то ехать на фронт, то работать в невозможной обстановке.

Конечно, по сравнению с другими, Бахолдину приходилось еще быть довольным. Могло быть и хуже. Могла быть «стенка», смертная казнь ни за что. Или тяжелая война в белой армии, страдания и эмиграция. Сравнивая себя с теми, кто пошел против большевиков, Бахолдин и теперь находил, что он поступил правильно: он все-таки делал карьеру. Только какой ценой!

Возможности были большие. Все то, о чем когда-то, как о недостижимом благополучии армии, писал Бахолдин, – всеобщее воинское обучение, широкое полевое обучение, сокращение муштры, усиление техники, – теперь, по его старым докладам, делалось одним росчерком пера.

«Быть по сему» вдумчивой, со многими советовавшейся Императорской власти сменилось дерзким, смелым, кружащим голову, задорным: «даешь».

«Даешь Все-воен-обуч!.. Даешь Авио-хим!.. Даешь наш ответ Чемберлену!..»

Но за этим «даешь» на деле скрывались обман, очковтирательство и крайняя грубость...

Штабы и полки наполнялись женщинами. В войсковые, армейские нравы влилась распущенность. Бахолдину было за пятьдесят. Он, гонясь за карьерой, никогда не был ни бабником, ни кутилой. Теперь и то и другое стало обязательным, вошло в войсковой обиход и стало его утомлять. Начались перебои в сердце, потом обмороки. Первый раз он задумался о смерти и... о Боге.

Бахолдин не верил в Бога. Не верил и в дьявола. Ни белого ни черного для него не было. Был только разум. Теперь ему вдруг стало казаться, что есть «что-то» помимо разумной воли людей. Есть какая-то «единица», кроме своего «я». Бахолдин мысленно чертил единицу. У ней два конца, два полюса. Если она есть в жизни, то все в жизни становится полярным, двойственным. Есть свет и тьма. Есть жизнь и есть смерть. Есть добро и есть зло.

Этого «добра и зла» Бахолдин всегда боялся.

За этим крылась совесть. А совесть скучное дело.

Бахолдин чувствовал, что он переутомился. Бессонные ночи в комиссиях, советах и на митингах, кутежи с «начальством», заигрывания военных барышень его замучили.

Выполнение бесплодных работ, писание невыполнимых проектов, все это топтание на месте, эта работа на холостом ходу были тяжелее самой трудной работы. Одиночество в толпе самое ужасное одиночество. Он был одинок. Господа

положения не пускали его в «свое» общество. Он всегда был с чужими. Сердечное недомогание усилилось. Он обратился с просьбой о лечении. Загаженный пролетариатом Кисловодск, без врачей, без достаточной прислуги, ему не помог. Он стал проситься за границу. Никого не пускали. Никому не давали таких командировок.

Ему дали. Или очень ценили его... или...

Бахолдину показалось, что он задремал на минуту. Но сейчас же горячие струи побежали по спине, обожгли поясницу и он в страхе раскрыл глаза.

«...Или считали, что все равно умру... Как умер Красин, Дзержинский, как умирает в итоге все на свете, и коммунисты и некоммунисты...»

На желтую занавеску легла узорчатая тень кустов. Встало солнце. Птицы пели наперебой. Черные дрозды, зяблики, щеглята торопились восхвалять солнце и тепло.

Воспаленные от бессонной ночи глаза болели, слух был напряжен. Страх смерти усилился. Ему велено: не волноваться и не думать. А он волновался и думал всю ночь.

Бахолдин томительно ждал людей, ждал, чтобы скорее прошла эта тяжелая, одинокая ночь, говорившая о смерти.

Настороженным ухом он ловил живые звуки. Пение птиц его восхищало и вместе с тем раздражало. Он слышал, как внизу, под полом, трепетно и настойчиво забил будильник. Ему казалось, что он слышит шаги босых ног и сонные голоса просыпающейся прислуги. Он слышал, как прошелестел

велосипед резиновой шиной по асфальту, как у дверей в саду говорили.

– Hauen ist verboten, – бить запрещается, – сказал кто-то молодым и звучным голосом. Другой голос ответил, и из ответа было ясно, что говорят о собаке.

“Бить запрещается...” Не только можно бить, – и не собак, а людей, – но можно мучить, истязать и убивать... Hauen ist verboten!.. Что за страна, где нельзя ударить и собаки?»

Бахолдин ждал, когда кто-нибудь позвонит. Когда он услышал чей-то звонок, тогда он проворно, задыхаясь, натянул на полные, дряблые ноги подштанники и брюки, надел туфли и, не умываясь, позвонил.

Когда вошла Софихен с подносом, он смотрел на ее молодое, свежее, в веснушках лицо. В ее волосах золотом заиграло солнце, когда она отдернула занавесь. Полные, упругие ноги легко передвигали ее тело. Мягко шевелились белые руки с розовыми ладонями и пальцами. Она была живая и здоровая. Он был умирающий и больной.

У нее своя жизнь, свое «я», которое она будет по-своему устраивать, не спросив у него, и он никогда не узнает, чего она хочет, к чему стремится и что думает. Первый раз Бахолдин набрел на мысль о другом человеке, о другом «я» и, подумав о том, что таких других миллионы миллионов, вдруг сразу с обидной ясностью почувствовал все ничтожество своего собственного «я».

Бахолдин не пошел гулять. Он был разбит телесно и чув-

становал себя усталым, он даже не мог заставить себя умыться и одеться. Он сел в кресло у окна и сидел, бездумно глядя на улицу за палисадником. Его сердце как будто успокаивалось.

В час дня бил гонг в столовой, к завтраку.

Софихен заглянула к нему.

– Прикажете подать завтрак в комнату? – сказала она, увидав гостя неодетым и немытым.

– Да. Прошу вас.

Она принесла поднос. Он не тронулся с места. Через полчаса Софихен пришла за посудой.

– Вы не кушали ваш завтрак... Может быть, вам дать что-нибудь другое?.. Хотите молока, яиц, ветчины?

Бахолдин смотрел на озабоченное лицо Софихен. В ее янтарных глазах горели огни жизни.

«Если бы ты могла дать мне этого огня жизни, – подумал он, – я все отдал бы за него...» Он сказал слабым голосом:

– Мне не хочется ничего. У меня, фрейлен, нет аппетита. Я просто посижу так.

«Не волноваться... Не думать... Я поправлюсь здесь, в этой тишине, в этом уюте, в этих заботах обо мне... Тут мне никто не помешает».

Он сидел, прислонив голову к подушке, и смотрел в окно. Он не видел прохожих. Он смотрел на темную гляцевую зелень рододендронов и на нежные колокольчики их лилово-розовых цветов.

Бахолдин задремал, и последняя мысль, которая вдруг

обозначилась в его мозгу, прорываясь сквозь наплывающую дремоту, была проста и несложна:

«Подлец... Ну и пусть».

7

Незапертая на ключ дверь стала тихо растворяться. Входивший не стучал. Это был «свой».

Бахолдин с недоумением и страхом, раскрыв глаза, смотрел на знакомое ему лицо полного короткого человека в черном пиджаке и темно-серых брюках с черными полосками, в неопрятной рубашке с мягким воротником, повязанным красным галстуком.

Это был Сергей Михайлович Полозов, видный коммунист, комиссар и член революционного военного совета. Он был еврей. Настоящее его имя было Самуил Моисеевич Пац. В далеком прошлом студент-естественник, потом политический ссыльный, потом эмигрант, он явился в Россию в свите Ленина, в знаменитом «запломбированном вагоне» и сразу занял видное место в военном комиссариате, хотя раньше никогда не занимался военным делом и даже не отбывал воинской повинности, бежав от нее за границу.

– Не ждали, товарищ? – весело бросил Пац. – Что вы кислый такой? Мне наши писали, что вы будете здесь. Я и зашел. Кстати, у меня тут дело к вам одно есть... По вашей специальности.

Он сел на стол против Бахолдина. Жирная ляжка была обтянута новыми брюками. Живот в жилете мягким пузырем нежно лег на нее. Бритое, полное лицо с толстыми губами и синеватыми щеками, с розовым крупным носом и черными широкими бровями сияло радостью жизни и довольством.

– Ну, как? Были у доктора?

– Был.

– И что же?

– Да что, Сергей Михайлович, плохо. Как бы помирать не пришлось.

– Все подохнем, товарищ, – весело сказал Пац. – А тут у вас персональчик не вредный. Я по дороге двух штукек встретил... Прелесть... Так и тянет мяса потрогать. – Пац щелкнул пальцами. Впрочем, говорят, строгие... Не то что у нас, в социалистическом раю, наши милые совбарышни...

Он захохотал. – Вы знаете, Алексей Сергеевич, какая мысль иногда приходит мне в голову? С вами я буду вполне откровенен. Мы ведь оба старые партийные работники. Так вот. Мы все твердили о свободе женщины. Мы все говорили, что в России, в той старой России, женщина была раба... Что надо ее освободить. Ну, и освободили. Вы знаете, я теперь на свободе обдумал. Да мы ее в такие кандалы загнали, такую работу сделали, какой она и во время теремов не была. Тогда у нее все-таки какое ни на есть женское достоинство было... Боярыня!.. А теперь? Кто она? Я вам прямо скажу, кто. Сука. Ну да... Сука, и больше ничего. Вот что сделала

с женщиной наша народная власть.

Бахолдин повернул голову на Паца и с некоторым недоумением посмотрел на него. Пац продолжал:

– Сука вяжется со многими кобелями и когда родит щенят, то выкормит их, научит кое-какой собачьей науке и уже тогда бросит. Сука лучше нашей советской девушки. Наша вяжется, заражается и заражает других, ей на это плевать. Она родит и не кормит. Подкинет в детдом, отряхнется и пойдет алименты взыскивать. А потом опять выйдет замуж за другого. Мы вот гордимся, что у нас сократилась проституция. Да на что нам она? Девушки школ второй ступени – проститутки, девушки вузов – проститутки, совбарышни – проститутки. Мы им сказали: «Невинность – буржуазный предрассудок, стыд – невежество, семья – мещанство, стыдно стыдиться». А они, дуры, поверили. Они не видят того, что от этого выиграли только кобели, а они сами, тратя молодость, теряя женские чары, обращаются в рабынь и принуждены нести каторжный труд, чтобы кормиться. Они, дуры, даже того не видят, что в нашем правящем слое наши-то собственные, настоящие девушки свои «буржуазные предрассудки» блюдут, женихов ищут за границей и не для советского брака. Какие-нибудь дочки Красина себе цену знают, или скажем, моя дочь... Да посмеет она так-то по-советски путаться... Н-нет... Мы-то понимаем... Или, например, ваша дочь... Где она, кстати?

– Не знаю... Бежала с матерью.

– За границу?.. Значит, тоже в буржуазных условиях обретается... Да... для себя-то мы дело понимаем...

– Ваши слова отзываются белогвардейским фельетоном, – холодно сказал Бахолдин. – Мне, Сергей Михайлович, странно и скучно вас слушать. Это меня волнует. Мне вредно волноваться.

Но Пац заговорил опять, и по-прежнему Бахолдин не мог понять, были ли это действительно его мысли или только тайная насмешка над бывшим буржуем.

– Что вас волнует? Гибель русской женщины? Гибель прелестной, акварельной нежности помещичьей девушки Тургенева и Пушкина? Гибель русской семьи? Но вы же сами должны были это знать. Вы сами работали с нами. Разве вы не понимаете, что в то время, когда вся Европа, кроме, может быть, господина Муссолини, думает только о том, как дожить сегодняшний день, мы на сто лет вперед смотрим? Вы сказали: белогвардейский фельетон. Х-ха! Эмигрантские выдумки. Ну, нет, дорогой Алексей Сергеевич, это такой фельетон, от которого любой эмигрант поперхнет. Где будущее России, ее дети? Вы посмотрите, какая масса их попадает прямо в детдома. Они не знают материнской ласки, и слово «мать» для них только один из членов трехэтажного ругательства. У нас растет целая армия беспризорных.

Здесь Пац насмешливо подмигнул одним глазом, и опять нельзя было разобрать, говорит он серьезно или просто балагурит.

– Это такие могучие кадры будущего пролетариата, что стоит над ними задуматься. Без Бога (ну, конечно, с маленькой буквы!), без всякой морали, неграмотные, не знающие ни России, ни русского языка, говорящие на своем воровском, беспризорном жаргоне, – это создатели будущих невероятных социальных потрясений. Это гений человеческий, родящийся дичком, это люди закаленной воли и с притупленным чувством страха... Это будущие вожди неслыханно аморальных движений. Под ними – темная, будущая, неграмотная Русь. Такой беспросветной безграмотности, такого ужасного положения школы Россия не знала и при «царизме»... Тогда были министерские и церковные школы, тогда и частным лицам не было запрещено «сеять разумное, доброе, вечное», как любили повторять старые студенты. Ну а попробуйте теперь. Наши сельские школы! Смешно о них говорить... Наши крестьянские дети и дети рабочих, в сущности, безграмотны. А мы их суем в рабфаки. Юношу, не умеющего сложить трехзначного числа, мы учим аналитической геометрии... Это тоже гениально. Человека, еле знающего русскую грамоту, мы заставляем долбить латинские названия частей тела... Ну, и в результате через какое-то время у нас не будет ни академиков, ни профессоров, ни учителей, ни инженеров, ни архитекторов, ни техников, ни генералов, ни офицеров. – Пац широко развел руками, как бы обнимая пространство, и торжественно добавил: – Вся Россия с ее стоимиллионным населением, темная, неграмотная

и годная только быть рабами. Вы это поняли? Чем не достижение?

– Уж если вам угодно сбиваться на белогвардейскую точку зрения, то на крайний случай есть про запас эмиграция... Она везде отлично учится... В ней не малые кадры русского ума.

Пац двусмысленно хихикнул.

– Эмиграция?.. Вы думаете, мы об этом не подумали? Еще несколько лет...

Он вдруг стал говорить медленно, четко чеканя слова.

– Еще пять-десять лет и старая эмиграция вымрет. Умрут свою смертью те, кто помнил Императорскую Россию. Умрут профессора, академики и сановники, знающие дело и могущие поставить Россию на рельсы... Молодежь, учившаяся в зарубежных университетах, колледжах и гимназиях, оторвется от России, ассимилируется с теми странами, где она нашла приют, и забудет даже думать о России. Что ей Россия? Грязь, клопы, беспризорные, беспросветное хамство, беспробудное пьянство... Да она и язык-то русский забудет... Нет, эмиграция никогда и нигде никакой роли не играла... Да и приняты меры... Все более здоровое, более крепкое, более русское мы сумеем, не показывая себя, направить в Канаду, в Аргентину, в Бразилию, подальше, подальше... Прикрепим к земле, закрепостим контрактами, закабалим работами... Нет, оттуда не выберешься в Россию. Россия останется полем для нашей работы.

– Допустим... А дальше?

– Дальше?.. Явимся везде мы. Мы будем правителями, начальниками, мы взнуздаем серую скотину и покорим с ее помощью весь мир.

Бахолдин покачал головою.

– А вдруг у вас выйдет ошибка? – сказал он серьезно. – Не везде выйдет так просто, как в России. Я сегодня не спал всю ночь. И утром, ровно в шесть, там внизу, в подвальном этаже, забил будильник. Проснулись горничные, и ожил весь этот дом в стройном и чинном порядке... Вчера, когда я ехал сюда с вокзала, я проезжал по главной улице. Городок маленький, тихий. Был полдень. Движения никакого. Но, когда я подъезжал к перекрестку, городской в кожаной каске вроде высокого кэпи, в зеленом мундире, в черных штанах и сапогах с крагами, подтянутый, торжественный и важный, руками в белых перчатках указал, что мы едем прямо... Какая тут везде организация! Я взял в ожидании приема у доктора местный листок. На этот маленький городок двести с лишним врачей. Пускай это курорт. Но двести врачей на двадцать тысяч курсовых, это выходит врач на сто больных... А у нас на двадцать тысяч населения не выйдет по расчету и одного фельдшера... Смотрел я сегодня утром в окно. Идут люди в штатском. Но по выправке, по манере ходить, по всему вижу: офицеры... Бывшие, будущие, все равно. Они ждут того часа, когда смогут опять командовать, учить и покорять... Заглянул в газету. Регирунгсраты... Переведем до-

словно. «Правительствующие советники». Даже звучит дисциплиной. Везде идет учение. Не наша советская «учеба», а настоящее учение. Гимназии полны, везде университеты, политехникумы, академии. Куда готовится этот переизбыток людей мозга, интеллигенции? Куда пойдут все эти инженеры, архитекторы, фабриканты, врачи и офицеры? Сколько людей изучает здесь русский язык, сколько есть обществ Русско-германского сближения! Природа не терпит пустоты. Вы не боитесь, Сергей Михайлович, что, когда обезлюдеет культурными силами Россия, все это кинется туда, и не вы, а они займут командные высоты? Они сумеют каленым железом вытравить наших беспризорных и розгами и шпицрутенами заставить повиноваться комсомол. Опять был на Украине в 1918 году... Наш народ скоро понял, что значит немецкое «праус» и «аусгешлоссен»... Да ведь им, пришельцам, несущим этот порядок и организацию, руки будут целовать. Рабские спины-то вы в итоге подведете под других господ. Будет русская Германия или немецкая Россия, но вашего пролетарского царства, покорного только вам, не будет.

Бахолдин говорил тихо и ровно с неожиданною самому себе горечью. Пац кивал головою.

– Пхе, – презрительно сказал он. – Вы забыли полутора-вековой гипноз человеческой глупости. Именем короля... Именем государя... Именем нации... какую бы умную и благодетельную реформу, какое бы величайшее добро кто бы ни стал сеять, он встретит протест всего мира. Да, почтенней-

ший... Представьте себе, что к нам с того света явится Император Николай II, объявит шестичасовой рабочий день и раздарит земли... Фантазировать, так фантазировать... Ну, словом, действительный рай на земле учинит. Как в сказке, все сделается. Что же будет? Америка, Англия, Франция, Япония, весь мир восстанет против. Как? Опять Империя?.. Опять царизм? Ни за что! Не позволим!.. Это такая будет интервенция, какой не снилось ни Колчаку, ни Деникину. Против Царской России станет пролетариат всего мира. Рабочие будут грузить днем и ночью военными припасами суда, матросы и солдаты будут рваться в экспедиционный корпус... Против Царя. Хотя, казалось бы, что им Русский Царь сделал? Ну а если именем рабочих и крестьян мы пол-Европы поставим к стенке, если мы учредим страшные казни, пытки и насилия, весь пролетариат станет за нас.

Пац поглядел на Бахолдина сверху вниз, точно с презрительным сожалением.

– Так вот! Если немцы вздумают сделать то, что вы говорите, мы им не позволим. Мы крикнем на весь свет: германские капиталисты хотят удушить свободных рабочих и крестьян социалистического союза советских республик. Товарищи! Все на защиту социализма!.. И сами же немецкие рабочие забастовками помешают немцам прийти в советскую республику. А нам?.. Нам никто не помешает. Нам все будут помогать. Ибо мы кричим их голосами. Мы идем в их одежде... Пхэ, товарищ... Нет ничего гениальнее, как дать пра-

во дураку и невежде рассуждать о государственных делах. А если еще допустить и женщин, готов настоящий омут. Такая там станет мутная вода, что лови из нее, что хочешь.

Пац прочнее уселся на столе, вынул из золотого портсигара папиросу и закурил ее.

– Мы сила, – сказал он. – Мы умеем пустяками волновать и занимать народ. Мы из какого-нибудь дела Сакко и Ванцетти, двух негодяев, умеем сделать сенсацию. Заставим о них говорить народы всего мира, сделаем запросы в парламентах, выгоним народ на демонстрации. Из процесса Шварцборда, убившего давно всеми забытого Петлюру, мы умеем сделать мировой скандал. Еврейские погромы!.. О-о-о-о!.. Как это ужасно!.. А погромы помещиков, а изнасилование ваших «тургеневских девушек» в старых усадьбах, а истребление десятками тысяч молодежи, офицеров, а погромы монастырей и церквей?.. Молчание... Молчание... Это все было в порядке «народного гнева»... Вы понимаете, Алексей Сергеевич, какая мы сила? Вы понимаете, как хорошо вы сделали, что пошли именно с нами?

Полное лицо Паца вдруг сложилось в тысячу мелких складок. С актерской мимикой он придал ему выражение тончайшей иронии и, закутываясь табачным дымом, сказал, прищурив глаза:

– Я хочу сказать, пошли... с народом...

Бахолдин был сильно взволнован. Табачный дым тяжело ложился ему на сердце. Он подошел к зеркалу и дрожащими

неловкими руками стал прилаживать воротник к рубашке. Пальцы дрожали. Запонка не попадала в прорезь рубашки. Долго не завязывался петлею галстук. Он обтер лицо мокрым полотенцем и пригладил волосы на висках.

– Не авантажный у вас вид, Алексей Сергеевич, – заметил Пац.

Бахолдин надел пиджак. Руки у него дрожали. Он едва сдерживал себя.

– Все это, – сказал он, – может быть, и так. В массе народ глуп. Это верно... Мы загоняем его в самые потемки... Только загнали ли?.. Весь ли он такой? Не встанет ли в нем протест против всего этого?.. Не начинает ли он прозревать?.. Я бы вам поверил... Меня не мучили бы сомнения... Колесания... Даже представьте, Полозов, страх... Самый низкопробный страх... Если бы не было... – Бахолдин оглянулся и закончил почти шепотом: – Если б не было Белой Свитки...

8

Последние два слова Бахолдин произнес так тихо, что их было едва слышно. И все-таки они произвели сильное действие на Паца. Опершись руками на стол, он вскочил на ноги и быстро подошел к Бахолдину.

– Что вы говорите? – воскликнул он. – Ну вы прямо-таки угадали все мои мысли. Ну, я за этим же к вам и шел. Я за этим сюда за вами и приехал. Я вам хотел только дать вот

столечко поправиться. Ну, там еще пару дней побыть в покое... Вы знаете, вы должны здесь узнать, кто им помогает... Кто дает деньги, кто шлет литературу... Вы же знаете, у меня такое чувство, что эта проклятая Белая Свитка везде... Что она ползет и ползет по России, как вошь, пожирая все наше красное дело. Вы знаете, даже сегодня, проснувшись рано утром в своем номере, в парке, в этом дивном отеле, – как жаль, что вы в нем тоже не остановились! – я подумал с испугом: «А вдруг зашевелится окно и Белая Свитка с ножом кинется на меня». Ну, я понимаю, в Европе это невозможно. Ну а все-таки. Почему-таки невозможно? И разве не было тому случаев? Ну, редко, понятно... А все-таки... Тут... там... Тут везде, знаете, так оскорбительно на нас, советских, смотрят, просто до ужаса. Я взял теперь два смежных номера и товарищу Сидорову приказал спать рядом. Это с одной стороны очень неудобно, потому что, знаете, я думал, ну, иногда ночью... Тут, говорят, есть такие кафэ ночные... Я для того и не поселился в санаторий... И потом... Вы знаете... Конечно, Сидоров преданный чекист. Он мне самим Менжинским рекомендован... Он даже при особе Дзержинского состоял... А только я ложусь вчера спать и думаю: «А вдруг этот самый Сидоров тоже Белая Свитка?..» Что вы думаете? Глупая мысль? Может быть, не такая уж глупая... Ведь это у русских как болезнь... Был себе человек верным коммунистом, давил белогвардейцев, как клопов на стенке, а потом, здравствуйте, пожалуйста, хватает вас за горло... Очень да-

же просто.

– Вы боитесь? – криво усмехаясь, сказал Бахолдин...

– Ну, нет... Белогвардеец бы сказал: Бог не выдаст. А я скажу: дьявол не выдаст...

– Вы что же, в дьявола верите?

Пац справился с собою и успокоился. Он сел в кресло, где раньше сидел у окна Бахолдин. Бахолдин, одетый, лег на кровать на спину и заложил обе руки за голову.

– Было бы забавно доложить в Реввоенсовете, что товарищ Полозов уверовал в дьявола.

– А вот послушайте... Я вам расскажу одну историю.

– Рассказывайте. Хотя мне, по совести сказать, нет дела ни до Бога, ни до дьявола. Я и без них отвратительно себя чувствую.

– Вы знаете, что, когда я был студентом, я был сослан в административном порядке на север Сибири?.. В Нарымский край.

– Который, кстати сказать, и теперь не пустует, – вставил с невольной иронией Бахолдин.

Пац не обратил внимания на его слова и продолжал:

– Ну, знаете, дело было молодое и был я ужасно какой любопытный. Самоедский язык изучать стал. Интернационал по-самоедски перевел. Быт их наблюдал, хотел даже книгу об этом писать. Очень меня тогда шаманы их интересовали. Вот, думаю, дикий какой народ, в духов верит и с духами общается. Много я их расспрашивал об этом. А они

мне говорят: «Вот, погоди, шаман комлать будет, тогда увидишь такое, что страшно станет...» Зима, знаете, полярная, скука отчаянная, со скуки чего не надумаешь. Приходят ко мне знакомые самоеды и говорят: «У старшины дочь больна, шамана позвали. Хочешь поглядеть, как комлать будет? Только не испугайся. Дело опасное». Ну, я-таки пошел. Юрта, или чум по-тамошнему, у старшины большой, из оленьих шкур сложен. Пахнет мехом и еще углями пахнет. Посередине на железном листе печка горит. Дым тянет кверху. На самом верху отверстие в чуме, – крышкой закрыто тяжелой, двум человекам не поднять, – для тепла. Человек пять самоедов сидит, запах от них тяжелый: скверно от самоеда пахнет. Больная на постели под песцовым одеялом лежит. Знаете, прямо из кинематографа сцена. Тут колдовства ждут и тут же я, ссыльный, политический, студент, материалист, ни во что не верящий. Шаман уже пришел. Тощий. Живота совсем нет. Они ведь постятся, шаманы эти самые. В шкуры рваные одет. Бубен в руках. Переговаривается со старшиной.

«Что счастье человеку? – говорит. – Много оленей – счастье человеку... Красивая девка – счастье человеку... Ром пить – счастье человеку... Духи в тундре злые. Надо злых духов просить. Злому духу что? Придет – на оленей мор нагонит. Девка больная лежит. Не веселит, не греет ром... Помрет твоя девка!» – И замолчал шаман.

«Комлать будешь? – спрашивает его старшина. – Шестьдесят оленей дашь, буду комлать».

Старшина pokrutil голову. Жалко ему показалось так много давать. И дочку жалко. Любимая-таки дочка была.

«Много», – сказал старшина. «Умрет девка-то», – сказал шаман. «Ну, ладно. Бери двадцать».

Поладили. Стал шаман пояс с железными плитками навязывать, а самоед, что привел меня, объясняет: «Боится железа дух. Бубна боится дух. Ух! С духом надо умеючи обходиться. Его обвести надо...»

Обрядился, наконец, шаман. Лисьи хвосты висят на нем, побрякушки, бубенцы звякают, лицо страшное, напряженное, и сквозь кирпичную бронзу морозного загара светятся в лице его тоска и страх. Будто, знаете, до смерти чего боится человек, а все-таки идет навстречу. Взял он кнут, стал ходить по кругу, кнутом щелкает, непонятные слова говорит. Я гляжу: балаган, да и только... А всмотрюсь в лица и думаю: балаган-то балаган, а только есть что-то и кроме балагана. У всех лица стали серьезные. Про шамана и говорить нечего. Он-таки весь дрожащий стал, и по лицу крупные капли пота текут. Шаман ходит, травы сухие в костер-печку бросает и от того по чуму стала удушливая вонь. Глаза ест. Брячат позвоночки на поясе, гудит бубен, воеет шаман истошным голосом, точно буря в тундре. Пар от него идет, так старается человек. В чуме стала духота такая, что дышать нечем. И вдруг... Вы знаете, если бы не сам видел, так и не поверил бы... Вдруг точно гул какой сверху донесся, снаружи юрты. Ближе и ближе. Словно поезд гудит по рельсам... И так, зна-

ете, тяжелая крышка легко откинулась и стало видно черное небо и звезды. Шум стал под потолком, будто там кто-то быстро по кругу носится. Но никого не было. Шаман выкрикнул что-то, а ему оттуда сверху ответ, другим голосом, и еще, и еще. Самоеды легли на землю. Морды в ковры уткнули. Не дышат. Я смотрю, знаете, изучаю. Что за чертовщина? Что он, чревовещатель, что ли? Так нет... Такого шума животом не сделаешь. Да и не похоже на это. Так, понимаете, с пару минут продолжалось. Потом стихло. Шаман полумертвый лежит на коврах. Вот, видите... Дьявола нет, а все-таки что-то есть такое, что и не снилось нашему Пролеткульту.

– Что же больная выздоровела? – с неожиданным интересом быстро спросил Бахолдин и сел на постели.

– Представьте, да... А у ней, по моему определению, был рак желудка в последней, безнадежной степени.

– Вас послушать, в нечистую силу уверуешь, – хмуро сказал Бахолдин.

Пац весело расхохотался животным здоровым смехом.

– Знаете, Сергей Михайлович, мне очень нехорошо. Вы меня волнуете. Мне волноваться вредно... Мне даже кажется, что я умираю, – с раздражением сказал Бахолдин.

– А умирать-таки не хочется? – все так же весело бросил Пац.

Бахолдин посмотрел на него печальными глазами.

– Я бы теперь, кажется, и шамана позвал. И ему поверил бы.

– А вот вы и вообразите себя таким средневековым человеком, – хихикнул Пац. – В старые времена на этот случай особенные заклинания были. Ну, в современности можно и без заклинаний. Вы крикните, когда плохо станет, три раза: дьявол, возьми мою дочь и отдай мне жизнь... Смотришь, и откупитесь не хуже любого Фауста.

Бахолдин чуть слышно сказал:

– Оставьте меня. Мне не до шуток. Мне очень плохо.

– Я уже вижу, я вас утомил. Ну, до свидания... А про дьявола-то не забудьте. Хе-хе-хе.

Толстая фигурка Паца с пиджаком, вздернутым над жирными ляжками, мелькнула в дверях, и в комнате сразу наступила тишина.

9

Бахолдин лежал не шевелясь.

Он сполз с подушки и теперь лежал плоско, всеми косточками, всеми уголками кожи ощущая покой и отдых.

«Вот так же плоско, – думал он, – я буду лежать в гробу... Потом начну гнить. Буду ли я чувствовать, что я разлагаюсь? И какое это будет ощущение?»

Он дышал так тихо, что ему казалось порою, что он уже совсем не дышит.

За окном, в курзале парка, заиграла музыка. Шарканье ног по панели усилилось. С улицы доходили голоса. Этот

уличный шум и музыка подчеркивали ощущение тишины и покоя в комнате, и Бахолдин стал чувствовать облегчение. Он потянулся, стараясь задремать.

Вдруг странные, стрекочущие, экзотические, азиатские звуки беспокойно понеслись от оркестра. Они точно разбудили Бахолдина, заставив его прислушаться. Потом...

Было то сном или явью?

Плавный, торжественный, красивый, слишком знакомый напев внезапно вырвался из оркестра и с грозною силою наполнил комнату. Бахолдин невольно спустил ноги и сел на постели.

«Боже, Царя храни, – неслось из оркестра. – Сильный, державный, царствуй на славу, на славу нам...»

Где, когда в первый раз услышал эти волнующие, поднимающие Душу ноты Бахолдин? Ему было лет восемь. Он с отцом и матерью, со старою тетею и гувернанткой сидел в ложе Большого театра. Вдруг все встали. Взвился занавес. Маленький Алеша Бахолдин увидел, что вся громадная сцена была полна людьми. Солистки и солисты, певцы и певицы, женские и мужские хоры в блистающих русских костюмах, в цветных сарафанах и кокошниках наполняли сцену. И тогда-то полились эти прекрасные звуки. Был Царский «табельный» день в старой Императорской России. Было празднично, тепло и уютно, и властным призывом гремел Русский народный гимн.

В окно, сквозь сиреневые кусты, продолжали входить

мощные голоса инструментов:

«Царствуй, на страх врагам...»

В последний раз Бахолдин слышал гимн лет десять тому назад. Была зима. Замерзшее поле с угловатыми скользкими комьями земли было припорошено снегом. Серые квадраты резервных колонн полков стояли под печальным зимним небом. Тучи нависли низко. Припархивал редкий снежок. В солдатских рядах уже ощущалась небрежность усталости. Неоднообразно были надеты грязные серые папахи. Кое-кто в рядах был укручен башлыком. Не на всех ружьях были погонные ремни, кое-где висели мокрые, прокисшие веревки. На ногах вместо сапог были башмаки с обмотками. Бахолдин был на фланге, на мохнатой лошади, присланной из драгунского полка. Тогда эти мощные звуки сменили печальное завывание труб армейского похода.

Бахолдин ехал сзади Государя. Он видел его спину, и была тогда в этой чуть согнутой спине, под шинелью солдатского сукна без складок, какая-то печаль обреченности. Бахолдин уже знал тогда о заговоре и сам связывал нити между подымавшим мятежную голову Петроградом и еще верной Государю Ставкой.

С тех пор он больше не слышал Русского гимна. России не стало. Гимна нигде не смели играть. Даже, говорят, и у «белых». Никто и нигде не мог возбуждать чувства:

– славы нам,

– страха врагам...

Не стало ни Бога, ни Царя... Пропала тогда и русская слава, сгинул и страх врагов. Сгубла сама Россия.

Кто же теперь посмел из тьмы небытия вырвать эти звуки, – звуки мощи и силы былой Императорской России? Или это приснилось? Или это дьявольское наваждение, подобное тому шуму невидимых крыльев в самоедском чуме, когда прилетели туда духи, вызванные шаманом?

Последние торжественные звуки замирали вдаль и их снова перебивали стрекочущие звуки экзотической, азиатской музыки. Бахолдин сильно надавил на кнопку электрического звонка. В дверь сейчас же постучали. Дежурная девушка вошла в комнату и остановилась, вопросительно глядя на гостя..

– Фрейлен, – сказал Бахолдин, трясущейся рукой доставая серебряные монеты. – Вот вам две... нет, три марки... Бегите скорее, принесите мне программу того, что играет оркестр, и узнайте, какой номер играли сейчас... сию минуту.

Девушка ушла, а Бахолдин стал ходить взад и вперед. Он спотыкался о ковер. У него кружилась голова. Сердце бурно колотилось. Кто смел вызвать эти призраки? Что умерло, то умерло. Императорская Россия не встанет никогда. Вечно, вечно будет союз советских социалистических республик с суками вместо женщин, с алиментами вместо детей, с беспризорными, с комсомольцами, рабфаковцами и шкрабами вместо учеников и учителей и с тревожным Интернационалом вместо плавного Русского гимна... Кто смел там

играть?.. Чего смотрит Пац?.. О чем думают Руфь Фишер и Клара Цеткин?.. Конечно, это приснилось.

Он ждал. Ему казалось, что девушка ушла давно. Между тем не прошло и двух минут, как она постучала вновь.

– Herein.

Горничная подала ему свежий Vadeblatt.

– Ну?.. Какой номер?

Она показала пальцем место на программе и сказала: «Шестой». Потом протянула ему сдачу.

– Возьмите это себе... Это вам...

– Как, все?.. Тут две марки восемьдесят пфеннигов. Программа стоит двадцать пфеннигов.

– Все, все вам... – Бахолдин торопился... – Да, еще. Дайте мне чего-нибудь поесть...

– Прикажете кофе?

– Да, кофе.

– И шлаг-зане?.. Может быть, масла с хлебом?.. Сухарей?

– Да... да... Скорее... Он читал программу.

«Nachmittags 4 Uhr im Kurhaus: Konzert des Kurorchesters.
Leitung: Musikdirektor Willy Naue»⁴.

Шестой, предпоследний номер:

«С.Мachts: Tscherkessischer Zapfenstreich» – черкесская заря. Вечерняя заря русских черкесов... Русских?.. Да, Русских... Разве они все, эти доблестные Султан-Гирей, лихие

⁴ После обеда в 4 часа, в Кургаузе. Концерт курортного оркестра. Дирижер оркестра Вилли Науе.

Улагаи, все эти мужественные люди с благородным характером не были русскими, верными слугами своего Государя?

Бахолдин смотрел дальше программу: «P. Tschaikowsky: Andante cantabile a.d. Streichguartett D-dur op. 11».

«Чайковский?.. Русское искусство, русский гимн живы? Они, загнанные в подполье, они, забитые жидами и хамами, смененные джаз-бандами негров и пролетарской музыкой, они все еще живут здесь?.. Тоже попали в эмиграцию. Что же выходит? Он, Бахолдин, умрет... И Пац умрет, или, может быть, его придушит где-нибудь Белая Свитка. А они не умрут. Россия не умрет.

Они вечны.

Или правилен тот девиз, что он с негодованием увидел однажды на первой странице подпольного белогвардейского журнала, подброшенного кем-то в его комиссариат: «Коммунизм умрет – Россия не умрет?..» Журнал назывался «Русская Правда»... Значит, есть Русская правда?.. Не все коммунистическая ложь?

Ему стало холодно. Горячий кофе с пышно взбитыми нежными сливками не мог подкрепить и согреть его. Его трясла лихорадка.

10

Когда зазвонили в гонг к ужину, в семь часов, Бахолдин нахлобучил мягкую старую панаму и вышел из санатория.

Оживление ужина в санатории ему казалось невыносимым.

«Надо исполнять приказ доктора. Гулять тихими шагами... и не в гору». Сейчас же, только перейти через улицу, была железная калитка. За нею вход в парк. В парке было пусто. Во всех пансионатах ужин был в семь часов, и все курортные гости сидели по домам за общими столами и за отдельными круглыми столиками пансионатов и гостиниц. На улице пахло овсяным супом и пригорелым маргарином.

Бахолдин медленно спустился по усыпанной гравием дорожке в главную аллею и сел на скамейке.

Тут было тихо, спокойно и пустынно. Тело приятно уместилось в изгибе белой широкой скамьи. Напротив, на лугу, в зеленых волнах лежала молодая скошенная трава и в самой смерти своей благоухала сладко и нежно. Вечернее солнце освещало стоявшее рядом со скамьей железное дерево. Коричневые его листья сквозили малиновым огнем. Небо было высокое, прозрачное и легкое, как бывает оно весной. Мягкие облака легли по нему золотыми пушинками. Птицы пели, точно молились, прощаясь с солнцем. Широкая тенистая аллея незаметно спускалась в долину. В ее глубине, в зеленой древесной арке виднелся каменный водоем. В нем золотом бил освещенный солнцем пенистый фонтан целительного Шпруделя. Редкие прохожие, любители тишины и уединения или зашедшие далеко на прогулке и опоздавшие к ужину, двигались в сквозных аллеях.

Бахолдин любовался красивым подбором кустов и дере-

вьев и переливами зеленого цвета в их группах. На бледной, томной зелени берез с их молодой листвою темными пирамидами выделялись стройные елки. Аллеи столетних лип упирались в круглую площадку, обсаженную двумя рядами каштанов. Там красиво чеканился серебристый тополь среди темных дубов, там акация обвесилась сережками душистых гроздьев своих восковых цветов. Обширный зеленый луг с каждой стороны имел зеленую прелесть разнородных и разнопородных деревьев и кустов, и зелень эта была бесконечных тонов и оттенков.

Сзади, из города, временами доносились гудки автомобилей и веселая музыка квартета, игравшего в модном Tennis-Safe. Впереди были тишина и темнеющие просторы вдаль уходящих аллей.

«Вот это все, а не праздные разговоры с этим Пацем, мне нужно, – думал Бахолдин. – Тут в природе ничто не взволнует. Если бы был действительно рай, в нем был бы человек и не было бы людей. Мы называем наше государство «советским раем». А у нас слишком много людей согнано на очень малом пространстве».

Бахолдин вспомнил взвихренную, мятущуюся, точно покрытую тысячью людских смерчей Москву и зябко поежился. Там точно кто гнал бичем людей, заставляя их всех суетиться и нестись куда-то. Заседания, комиссии, митинги, сообщения, отчеты, дискуссии, демонстрации, а в промежутке дикие кутежи, неистовое пьянство и разврат... Стыд ушел

из Москвы. Голые или почти голые девицы на улицах, смесь голых мужчин и женщин на народных купаньях, точно хватство тем, чего должно было стыдиться. То притуплённое, то, напротив, возбужденное чувство страсти, намазанные лица машинисток, стенотипинок и секретарш, женщины везде, даже в военных академиях, их особый, то волнующий, то противный запах, смесь приторных плохих духов и острого запаха пота и пудры, постоянная напряженность ума, – все это создавало повышенную чувствительность. Не жили там, а прожигали жизнь. Умирали сорока-пятидесяти лет. В шестьдесят лет считались стариками...

«А тут, – подумал Бахолдин, – моему доктору за семьдесят, а какой молодец. Он и не думает о смерти. Президенту Гинденбургу все восемьдесят, а как правит... Нет... Поживу и я... Надо только успокоиться... Не волноваться... Не думать...»

К нему приближался по аллее высокий видный старик. Загорелое темное лицо поросло красивой, седой, холеной бородкой. Его одежда – старенький пиджак и потертые брюки – была аккуратно вычищена и разглажена, и во всей его осанке были те особенные щеголеватость и подтянутость, которые и штатскому костюму придают особый, не штатский вид. Какая-то маленькая розетка, – Бахолдин не разглядел, какая, – была в левом лацкане пиджака. Старик покосился на Бахолдина, остановился, оглянулся еще раз, повернулся назад, прошел мимо.

Это не понравилось Бахолдину, и он неловко задвинулся на скамейке.

Между тем старик внимательно взгляделся в Бахолдина и наконец, решительно подошел к нему и, приподнимая котелок, сказал:

– Если не ошибаюсь, Бахолдин?

Он сказал по-русски. Бахолдину следовало бы притвориться непонимающим, но он не успел подумать об этом и по-русски же хмуро ответил:

– Бахолдин... Чем могу служить?..

Старик раскрыл объятия и заключил в них Бахолдина...

– Боже мой! – воскликнул он. – Вот удивительная встреча! Да мы лет сорок не видались. А вот узнал. По твоей гордой уверенной складке у подбородка... А ты не узнаешь?.. Ядринцев... Сева Ядринцев – фланговый кадет, а потом ротный жалонер. Неужели Севку Ядринцева, жалонера и запевалу забыл?

Усевшись на скамейку рядом с Бахолдиным и обнимая его за талию, Ядринцев верным стариковским тенорком напел:

Как приехали два брата
Из деревни в Пинтербург...

– Помнишь... Прямо Божие чудо, что я тебя здесь встретил. Мы с тобой как бы свояками не стали. Мой Володька совсем без ума от твоей дочери Светланы, такие сумасшед-

шие письма мне пишет...

– Где она?.. Светлана?

– Та-та-та... Болван я, болван. Может быть, и говорить тебе этого не следовало. Этакая я скотина, не догадался, что они, и графиня Тамара Дмитриевна и Светланочка, живут под девичьей фамилией Сохоцких... Я думал потому, что в Польше так удобнее, чтобы не русское имя. А вы что же?.. Разъехались? – вдруг смутился старик.

– Тамара Дмитриевна с дочерью бежали от меня.

– Вот как... Володя мне про это ничего не писал. Они ему ничего не говорили...

– Они не говорили, почему ушли от меня? – волнуясь внутренним волнением, спросил Бахолдин. Помимо воли Ядринцев был приятен ему воспоминаниями того детства, когда честолюбивые мечты его не шли дальше того, чтобы быть вице-унтер-офицером в роте, и когда он понимал чувства товарищества.

– Нет... Ничего не говорили... А ты почему здесь? Болен? – деликатно переменял разговор Ядринцев.

– Да, я очень болен. Сердце совсем плохо.

– Ничего, брат. Здешние воды чудеса творят. Тут Бог излил свое милосердие на людей. Ты ходить-то можешь?

– Немного, да.

– Пойдем, я тебе покажу кое-что, и ты поймешь, что вся твоя болезнь – пустяки.

Они пошли тихими шагами по широкой аллее под гору. Опять Ядринцев «взял ногу» и напел с лихим былым шиком кадетского запевалы:

Рано утром енералы
В липартаменты спешат.
Сам он красный, с заду ясный.
И наплечники горят.

– Да, брат, вот мы с тобой и сами стали генералами, а только ни «липартаментов» у нас нет, ни спешить нам некуда... И наплечников давно нет... А помнишь?.. Однокашники ведь мы с тобой, однокорытники... Помнишь, как в сумерки зимнего дня выстраивался, бывало, наш «старший возраст» в воротах корпуса и Кольдевин... Ты Кольдевина-то, ротного, помнишь?

– Помню.

– Кольдевин командовал: «Ряды вздвой. Ружья воль-но. Шагом... Марш...» А гвардейские барабанщики и флейтисты ударят «козу»... Ах, тогда «коза» нам казалась слаще оперы. Всего триста шагов и за маленьким сквером тускло освещенный громадный манеж. Как все казалось славно, уютно и хорошо! Да... Точно вчера все было, а в сущности как давно. Мы разошлись с тобой после корпуса. И никогда

потом не встречались. На войне слышал я как-то, что ты в штабе, где-то высоко... Потом еще раз слышал, будто большевики-солдаты тебя в Минске расстреляли.

– Это моего младшего брата, – глухо сказал Бахолдин. – А как ты сюда попал?

– Нас не спрашивают, как попал, а спрашивают, какой эвакуации.

– Ну, какой же?

– Я – Новороссийской... В Крым меня не взяли. А в добровольцах лихо поработал. Я этим дьяволам под Царицыным немало наложил... Да, что тут долго разговаривать. Чудом спасся, чудом выжил, чудом живу. Все милосердием Божиим.

Они перешли по широкому мосту через мирно струящую мутные волны речку. За рекою был как бы обширный двор, образуемый низкими тяжелыми каменными зданиями ванн. Посередине этого двора возвышался высокий и тяжелый, из дикого камня сооруженный водоем. Грубо обтесанные, под статуи времен Галльских войн Юлиия Цезаря и первых императоров барельефы поддерживали края. В водоеме бил пенный фонтан. И от него в воздухе разносилось влажное тепло.

– Смотри и читай, – сказал Ядринцев, подводя Бахолдина к водоему. – Читай и ты поймешь, что твое сердце в надежных руках, что тебя ждет исцеление.

Грубо произнося по-немецки, Ядринцев прочел высечен-

ную старинными немецкими буквами надпись по краю бассейна:

– Auf Gottes Geheib, aus der Tiefe geboren der lebenden Leiden zu lindern erkoren...⁵ Здесь, как и везде, Бог. С Его помощью твоя болезнь пройдет... Ты видишь здесь Его особенное милосердие.

– Ты так говоришь о Боге, точно ты Его сам видел, – сказал Бахолдин с легкой иронией.

– Мы еще в корпусе у бабушки Середонина учили: «Бога нигде же виде никто же, на Него же невозможно взирати...» Бога никто не видел, ибо Он везде. Посмотри кругом. Бьет этот фонтан. Это Бог. Он тут, подле нас. Он слышит наши слова. Он знает наши мысли...

Ядринцев повел Бахолдина назад, к парку. Остановился у моста, возле кустов сирени и жасмина.

– Чувствуешь, как пахнет сирень? Это Бог насадил ее нам на радость. Слышишь, птица пропела короткую песню? Это она молитву вознесла к Творцу неба и земли...

Прошли за мост, перешли круглую площадку, обсаженную тополями, и вышли на открытое место.

Из города несся мерный печальный перезвон. Над курзалом возвышалась в зеленых лесах гора Johannisberg, за нею пламенело небо. Солнце садилось.

– На колокольне бьют Angelus, – сказал Ядринцев. – День

⁵ Божьим соизволением из глубины родился, чтобы живущим облегчать страдания.

отходит в ночь. Когда-то при звуках этого звона все останавливались, складывали руки и молились Творцу. Молились в поле, окончив трудовой день, молились в хате, готовя ужин для главы семьи, молились в городе. На минуту мысль возносились к Богу... Теперь этого нет... Звенит джаз-банд и рычаг, носясь, автомобили... Материалисты изгнали Бога. Они думают, что все это само образовалось, по каким-то химическим, им известным законам. Невежды они. Те, что стояли, молитвенно сложив руки, и слушали Angelus, были мудрецы. Мир идет не вперед, но назад. Те люди знали тихое счастье молитвы. Теперешние несчастны в своей гордыне и зависти.

– Тебя послушать... Совсем проповедник.

– Я не проповедник, а человек, знающий Бога, испытавший на себе Его милосердие, выдавший чудеса.

– Ты, действительно, видел чудеса?..

– Да, милый мой, я видел чудеса и немало... Да вот тебе... После развала фронта, я с семьей очутился в Кисловодске. Там набилось генералов и этого самого буржуя несть числа. Пришли большевики. Начались, как водится, выемки, расстрелы. Раз ночью будят. Стук в дверь: пришли с обыском. Солдаты и с ними стройный, молодцеватый, сразу видно офицер, молодой человек. Конечно, без погон. «Вы, – говорит, – Ядринцев?» – «Ядринцев», – говорю я... – «Генерал?» – «Генерал». – «Придется вас побеспокоить. Обыск сделать. Насчет оружия и переписки». Им, чертям полосатым, все тогда казалось подозрительным. Жена в халатике

села в кресле в углу, я присел на постель, закурил, взял книгу.

«Делайте, – говорю, – что вам приказано».

«Товарищи, – говорит офицер, – вы осматривайте ту комнату, а я буду смотреть здесь».

Сразу взял он со столика жены бювар. А в том бюваре было письмо моей жены, написанное Варваре Михайловне Дуварской, моей тетке. Ждало okazji для отправки.

«Это, – говорит, – что такое?»

Я говорю: «Сами видите, письмо».

«Вы знакомы с Варварой Михайловной Дуварской?»

«Да».

«Она очень богатая женщина?»

«Да».

«У ней был лазарет в Москве?»

«Да, офицерский».

«Кем она вам приходится?»

«Теткой».

«Я лежал в этом лазарете. Я видел много добра от вашей тетки. Я не буду делать у вас обыска. Но вам надо уходить. Сюда могут прийти другие... Товарищи, – крикнул он красноармейцам, – нам здесь нечего делать. Идемте дальше...»

Ядринцев дружески взял Бахолдина под руку.

– Ну, разве не чудо?

Бахолдин промолчал. Они тихо поднимались к курзалу.

– Потом стал я собираться бежать к добровольцам. А уже

знали мы, что в Екатеринодаре Добровольческая армия Деникина и на Дону спокойно. Добыл я себе паспорт на имя купца, сбрил бороду и усы и тронулся в путь. Благополучно добрался до станции Минеральные Воды, там мне надо было доехать до станции Овечки, а оттуда уж были люди, которые должны были лошадьми доставить меня за фронт. На станции Минеральные Воды – осмотр документов. Гляжу: одних пропускают, других отбирают на площадку. И уже человек шесть отобрали. Дошли до меня. «Ваш документ?» Посмотрели. Берут мои руки, смотрят. «Пожалуйста на площадку». Я было, протестовать. «Не задерживайте, – говорю, – товарищи, сейчас поезд уйдет... Я по делу еду...» – «Много не разговаривать, – говорят мне. – Может, вам даже и никакого поезда вовсе не потребуется. Пожалуйста. Там разберут». Окружили нас тут и повели через пути к станции. И вдруг со станции из буфета вываливается человек десять красноармейцев. Все пьяные. «Товарищи!» – кричат. – Что же вы не идете? У нас тут гулянка. Вина припасли вдоволь... И барышни пришли...»

Караульные взялись разговаривать, расспрашивать. Я гляжу: сзади меня никого... А тут поезд товарный надвигается тихо так, – цык, цык – стучит колесами по стыкам рельс, накатывает ко мне площадкой. Я схватился за поручни... В поезд! Перешел площадку и сел на ступеньки. Сижу. Катит поезд на Пятигорск. Ускоряет ход... Разве не чудо?..

Бахолдин опять ничего не сказал. Он тяжело дышал и

остановился.

– Тебе трудно идти в гору, сердяга... Ничего. И я, как приехал сюда, тоже до музыки дойти не мог, а теперь на самый Johannisberg карабкаюсь. Вот оно воды-то какие.

Бахолдин слабым голосом сказал:

– Нет, пойдем уж. Тут недалеко. Пойдем ко мне.

Пошли. Некоторое время молчали. Потом опять заговорил Ядринцев. Он был так рад встречи со старым корпусным товарищем, что не видел в Бахолдине старого рыхлого человека с бритыми щеками и стриженными усами, но видел стройного юношу, вице-унтер-офицера, товарища его детских игр. Ему хорошо было с ним. Хотелось излить ему радость выздоровления, рассказать о сыне, о жене, о возможном скором браке его Володьки с дочерью Бахолдина Светланой.

«Ну, разошлись они, – думал он. – Мало ли почему. Может быть, и не он виноват. Он вот, старенький стал, больной, слабый, а про Тамару Дмитриевну Володя пишет: красавица, молодая, свежая, совсем старшая сестра своей дочери. Может быть, она сама его бросила. Скучно ей стало... Мало ли что на свете бывает»...

Смешанное чувство любви и жалости к старому товарищу залило его сердце сладким теплом.

Как только Бахолдин очутился в своей комнате, он почувствовал себя очень плохо. Сердце мучительно сжималось, и едкая тошнота подступала к горлу. Голова болела и кружилась. Он как-то сразу ослабел. С трудом, напрягаясь до темноты в глазах, он закрыл окно и ставни и задернул занавески. Уличный шум его раздражал. Мимо санатория публика шла на музыку. Когда закрывал окно, слышал, что оркестр играет марш.

Бахолдин зажег под потолком одну лампочку. Когда все было закрыто, в комнате наступила тишина. Уличные шумы больше не проникали в нее. Только было чуть слышно, как в приемной, через коридор, секретарша щелкала на машинке, да внизу, в людской, горничные, в два голоса, пели молитву. Эти звуки тоже скоро затихли.

Бахолдин снял пиджак и жилет. Он с отвращением посмотрел на аккуратно приготовленную, с откинутым чистым одеялом постель. Вчерашняя бессонная вспомнилась ему ночь. Нет... Он в постель не ляжет. Он взял подушку и устроился на кушетке.

Только лег, его стало тошнить. Рвоты не было, но его так тянуло, что, казалось, все внутренности вот-вот вывернутся на изнанку. Лицо налилось кровью, жилы на шее вздулись, лоб покрылся холодными каплями пота. Бахолдин сидел на

кушетке, склонившись над ведром, и только липкая слюна шла из его перекошенного рта. Так продолжалось долго. Когда тошнота прекратилась, он откинулся в полном изнеможении на подушку, и тотчас сильный озноб охватил все его тело. Ноги тряслись. Хотел позвать кого-нибудь, позвонить, но голоса не было, не было и сил дотянуться до кнопки звонка.

Бахолдин стащил с постели одеяло и пуховик и навалил на себя. Озноб не прекращался, но ноги перестали дрожать. Он лежал теперь неподвижно, на спине, и чувствовал, как ледяной холод охватывает его конечности, ползет по телу, подходит к голове и от него цепенеет мозг. Похолодел и стал твердым, как кость, живот. Когда заохлодеет сердце, наступит конец.

Бахолдин открыл глаза. В странной полупрозрачной тьме потонула комната. Он видел кушетку и свои ноги. На них белым пузырем вздымался пуховик, маленькое освещенное пространство бобрикового рыжего ковра выделялось кругом кушетки. Дальше чуть намечался край постели, смутно и печально блистало зеркало шкапа с отраженной лампочкой и был виден белый прибор умывальника. Дальше все сливалось во мраке. Бахолдину казалось, что этот мрак медленно надвигается, наплывает и давит его... Скоро все сольется в вечном черном покое.

Озноб прекратился, но тело стыло в холоде. Ничто не могло его прогнать. Томительная тишина была кругом. Скучно

и зловеще блистала под потолком на изогнутом рожке одинокая лампочка.

Бахолдин глядел на нее, и вдруг, внезапно и ярко, с неожиданной остротой открылись ему пустота и ненужность всей его жизни. Карьера, ордена, академический значок и аксельбанты, предательство и подсиживание своих товарищей, измена Государю, раболепство перед жидами и хамами, лесть толпе и подслуживание «народу», кучке хулиганов и мерзавцев, – все, чем жил он всю свою жизнь, было совсем не то, что надо. Бахолдин с удивившим его самого равнодушием думал теперь обо всем этом. Не нужны были деньги. Не нужен был почет... Не нужны и женщины... К чему они?

Мрак надвигался. Все исчезло в этом мраке. Предметы, образы прошлого, мысли о будущем. Потухли отблески света на никелевых кранах умывальника. Он исчез и слился с коричневым сумраком. Не стало видно зеркального шкапа. В овале света стояла кушетка – последний оплот против тьмы. Сейчас и ее зальет тьмою.

«Стоит ли волноваться, – подумал Бахолдин. – Все так просто. Захватит темнота. Ничего не будет. Ничего и не надо... Ни золота, ни чинов, ни женщин, ни вообще людей. Подохну и конец... Вот Ядринцев верит в чудеса. Бога везде видит... Птица поет – Бог... Дерево стоит – Бог».

Прояснившаяся на мгновение мысль потускнела опять. Так догорающий костер вспыхивает последними порывами пламени. Вспыхнет пламя и упадет, чтобы снова вспыхнуть

еще короче.

«Не верю я Ядринцеву. Святоша... Елейный человек... Врет он про чудо и про Бога... Никакого Бога нет... И не может быть... Наука доказала... Ему хочется верить, он и верит... Что такое религия?.. Опиум... сладкий... дурмящий опиум... Священники, пение, золото икон... Гашиш... Гашиш... Нет... просто, – шиш». Бахолдин тяжело вздохнул.

Тьма продолжала надвигаться. Точно замороженные, обледенелые ноги лежали тяжело. Пот на лбу высох. Голова была как во льду. Живот холодный, окаменел. Но мысль еще билась и искала, цепляясь за что-то.

«Ядринцев что?.. чужак... русак... В е р у ю щ и й... Смешно... Такой большой, старый и верующий... Пацу я бы поверил... Пац рассказывал про шамана... Он не шутил...»

Вдруг быстрая мысль яркой молнией прорезала сознание. Как будто снова стало светлее в комнате. Мутно наметились во мраке никелевые краны. Зеркало проявило свою тусклую гладь.

«А ведь самоедка-то поправилась... Рак, говорит, был у ней в желудке в последней степени, а она поправилась... Шаман сказал, кому кланяться надо. Дьявола вызвал. Дьявол помог. Двадцать оленей дали».

Он закрыл на миг и снова открыл глаза. За этот миг мрак надвинулся на него вплотную. Не было видно ни одного предмета в комнате, все потонуло во тьме. Мрак захватил пуховик, лежавший на ногах. Только тяжелые, белые, узло-

ватые руки, лежавшие на животе, были ясно и четко видны.

«Когда смерть рядом, можно призвать и без заклинаний», – прошли в мозгу слова Паца.

Ужас охватил Бахолдина. Он понял, что это конец. Нemi-нуемый, неотразимый, стремительно надвигающийся. Осталось несколько минут жизни... Может быть, несколько секунд. Беззвучно прошептал одними губами:

– Дьявол, дьявол... Возьми мою дочь, верни мне жизнь.

Прислушался. Точно ожидал услышать шум под потолком, подобный хлопанию крыльев и звуку пропеллера летящего вдали самолета. Кругом была необычайная, м е р т в а я тишина.

«Обманет, не придет, – крутилось в мозгу. – “Яко ложь есть и отец лжи”, – вдруг всплыли откуда-то забытые слова.

Ужас стал еще сильнее. Бахолдин хотел приподняться и не мог. Он собрал все силы и громко и внятно сказал:

– Дьявол, дьявол, возьми мою дочь, Светлану... Верни мне жизнь.

Мертвая тишина стыла кругом, как ледяная глыба.

Казалось: кругом уже ничего не было. Не было города, не было парка, людей, не было самой комнаты с ее мебелью, с ее обыденными предметами. Все исчезло... Растворилось в прозрачном, коричневом, гнилом мраке.

Тогда закричал Бахолдин во весь голос, так громко, что испуганная дежурная горничная бросилась к дверям его номера:

– Дьявол, дьявол, возьми мою дочь Светлану, верни мне жизнь...

Бахолдин почувствовал, как всю нижнюю часть его тела точно погрузили в кипящий, расплавленный металл. Она загорелась страшным жаром. Раскаленные струйки побежали к ногам. После ледяного холода это было так необычно и страшно. Он еще раз открыл глаза.

Мрак смыкался над его, ставшими тяжелыми, белыми, мраморными и чужими, не его, руками...

13

Горничная стучала в номер и, не добившись ответа, запасным ключом открыла дверь...

По санаторию пошли тревожные шепоты и беготня. Зазвонил телефон, не общий, подле приемной, а секретный, из кабинета доктора. Торопясь, пока не вернулись с музыки гости и никого не было ни в коридоре, ни в приемной, ни в палисаднике, явились два человека в длинных черных сюртуках со светлыми плоскими пуговицами и в фельдшерских передниках, с ручной тележкой в два колеса, с длинными оглоблями с обеих сторон и с холщовой крышкой. Они быстро вынесли Бахолдина, положили на тележку, накинули холщовую крышку и повезли по асфальтовой дорожке, а потом по шоссе вниз, за город, к большому многоэтажному зданию городской больницы.

В приличных отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях нельзя допускать, чтобы умирали гости.

Это производит дурное впечатление на других жильцов. Это портит репутацию заведения.

Часть вторая

ДЕТИ

Это был город, где в странном очаровании слилась изящная прелесть средневекового католического латинства с суровым и тяжелым порядком и чистотою германцев и небрежным, широким уютом славянства. Здесь были улицы – ни дать ни взять – провинциального русского города, где без всякого ранжира, вдоль чахлах деревьев бульваров, вытянулись четырехэтажные, трехэтажные и одноэтажные дома, где над вокзалом железной дороги возвышалась строгая своей прямолинейностью башенка, на ней балюстрада, за балюстрадой еще башенка и высокий шпиль флаг-штока, выдавшего еще недавно в табельные дни бело-желто-черный русский Романовский флаг. Точно пришла в эту русскую улицу с ее пестрыми нерусскими вывесками «bilardu», «Paris» и с веселым трамваем с прицепным вагончиком какая-нибудь каланча из приволжского Саратова.

В городе была площадь, где в чинной ровности сжались узкие, каких не знает славянский мир, в три-четыре окна по фасаду, четырехэтажные дома с широкими низкими дверями аркой, со старым памятником, окруженным столбами с висящими между ними цепями. Эта площадь явилась из средневекового германского города, где была она рынком, куда по утрам спешили торговцы и торговки. Они ставили на

ней свои холщовые навесы и раскладывали зеленые, упругие кочаны капусты, корзины с картофелем, пучки алой моркови в перистой нежной зелени, головки луку и чесноку. Подле тележек мирно лежали громадные, лобастые, умные псы с толстыми лапами в ременной сбруе на шее.

На южной окраине города был парк с серебристыми прудами. Мрамор мостов с конными статуями четко вылеплялся на густой зелени деревьев и кустов. Казалось, то был французский Версаль в его лучшие дни.

В этом городе была немецкая чистота подстриженных цветников и скверов. Там, на высоких пьедесталах, стояли бронзовые статуи, памятники великим людям народа, создавшего этот город, полководцам, писателям и поэтам. Были его улицы и площади подметены. В пыльные, жаркие дни по ним с журчащим шорохом проезжали тяжелые автомобили, поливавшие тысячу мелких струй раскаленные каменные и асфальтовые мостовые.

В жителях этого города была самоуверенная, петушиная пылкость французов, упорство и самонадеянность немцев и благородная мягкость славян. Из тысячи противоречий слагались их нравы. Давали всему городу характер, полный неожиданностей и самых различных возможностей.

Женщины в этом городе были телом прекрасны, как славянки, с льняными или цвета спелой ржи волосами, с голубыми или серыми большими, выпуклыми, блестящими глазами. Но душа у них была легковверная, неглубокая, измен-

чивая и легкомысленная, как у женщин латинской расы. Были они изящно одеты по последней парижской моде, стрекотали быстро на мягком, звучном и шипящем языке, но под платьем занашивали белье и не слишком охотно мылись, подобно француженкам.

Климат в этом городе тоже был полон противоречий. То по-русски нападёт белый снег. Мороз заблестит инеем, хрустальными и алмазами, покрыв деревья и кусты садов и бульваров. Повалит из труб белый дым, завиваясь кудрями. Понесутся по улицам, по первопутку, санки с бубенцами. Дворники, напрягаясь, станут лопатами чистить мостовые, чтобы цари современного мира, автомобили, могли свободно катить по улицам. Под морозным голубым небом широко и румяно улыбаётся яркая, веселая, точно московская зима. И вдруг насупится небо, покроется темными, низкими тучами, полетят по улицам густые туманы, пойдёт дождь, смочит без остатка снег, растопит алмазное очарование инея, и гнилым французским Парижем несёт тогда от мокрых улиц и блестящих асфальтов, где, как в реке, отражаются свиные рыла автомобилей.

Этот город испытал военный постой и был занят неприятельскими войсками. Но тогда, когда гибли от своих и чужих солдат деревни, сгорали дотла, стояли с объединёнными фруктовыми садами и потоптанными полями, точно по ним прошла всепожирающая саранча, когда гибли помещичьи усадьбы и, после прохода войск, с разбитыми окнами, с бумагой

разорванных книг на полу, с осколками разбитой посуды и порванными картинами, казались мертвецами, – города не могла победить и одолеть даже война. Он потускнел, загрязнился, точно завшивел одно время. Потом быстро поправился. Или не хватило солдат, чтобы разойтись по всем его домам и квартирам, или захватчикам совестно было на глазах у людей грабить и уничтожать чужое добро. Сохранились по комнатам квартир картины и ковры, остался электрический орнамент, не была побита посуда, не было растащено платье и белье, не были разорваны книги, не были раскиданы бумаги и письма.

Во время войны и после нее в городе сохранился веками насиженный комфорт.

Так в полной роскоши и неприкосновенности уюта сохранился большой каменный особняк Владека Подбельского, стоявший в глубине двора. Высокие, темноватые комнаты стыли в холодном покое. От мраморных подоконников и резной мраморной внутренней облицовки окон веяло зимой и морозом. Полы были покрыты мягкими, пушистыми коврами и шкурами редких зверей. По стенам висело старинное оружие. Рыцарские доспехи, надетые на манекен, выделялись в углу. Широкая тахта занимала треть большого кабинета. Со стен, из шкапов, глядели темные книги Средневековья, книги колдовских, тайных знаний.

Владек Подбельский, богатый, не скованный делами помещик, посвятил свою жизнь изучению всего таинственно-

го, что когда-либо волновало человечество. Ему было сорок лет.

В обширном кабинете Подбельского, где по темным углам словно чудилось чье-то тайное незримое присутствие, где шелкал порою внезапно пол, где пахло дымом душистых папирос и где совсем не было слышно городского шума, часто бывала русская молодежь, осевшая в этом городе. Здесь говорила она о том, что ее смущало: о судьбах России, о будущем России. Хватались за оккультизм, думали при помощи тайных сил заглянуть в будущее.

Здесь бывала, среди других, и девятнадцатилетняя Светлана Бахолдина.

2

Бывать у холостого Владека Подбельского Светлане удалось не сразу и не без борьбы с ее матерью, Тамарой Дмитриевной.

Тамара Дмитриевна прямо из Петербурга попала в этот город, еще взъерошенный войною, тесный и трудный для жизни. Она восстановила старые связи, заменила свой мужнин паспорт на девичий и стала опять графиней Сохоцкой. Она отдала свою дочь в гимназию Святой Ядвиги и семь лет прилежно следила, чтобы дочь ее не забывала ни православной веры, ни русского языка, ни русской истории.

Пока девочка ходила в монументальное, белое, кубиче-

ской формы здание, с шестью колоннами по фасаду, увенчанными шестью женскими статуями, все шло хорошо, но когда по окончании гимназии она поступила в Политехникум и вкусила свободной жизни студентов и студенток, она как-то вся изменилась, стала нервной, легко возбудимой, разочарованной, капризной, временами озлобленной. Она остригла по моде свои прекрасные, густые, золотистые волосы. Появились карандаши для губ, цветная пудра для лица. Появились тонкие папиросы с золотыми мундштуками. В разговорах с матерью появился покровительственный тон. В нем то и дело звучало: «ты, мама, ничего не понимаешь».

Что особенно заботило и печалило Тамару Дмитриевну, это был рано развившийся в ее дочери скептицизм, равнодушие к религии. Она боялась, что за этим придет и сухой карьеризм, сгубивший отца Светланы.

Тамара Дмитриевна была очень рада, когда в их город приехал старый генерал Ядринцев с сыном Владимиром, и еще более рада, когда заметила, какое сильное впечатление произвела на Владимира Ядринцева Светлана. Мать с удовольствием глядела на начавшееся, нежное, стариной отзывающееся ухаживание молодого Ядринцева.

Ближайшей подругой Светланы была Ольга Вонсович, русская, сибирячка по матери, дочь русского поляка, всю жизнь прослужившего в русской армии, в Сибири, и убитого в боях под Варшавой. И Ольга и ее брат Глеб были оба такими русскими, что Тамара Дмитриевна знала, что Свет-

лана с ними не ополячится. Кроме сестры и брата Вонсович, часто бывали со Светланой Стае Замбровский, влюбленный в Ольгу, ярый поляк, и Ляпочка Николаева. Все это была хорошая, неиспорченная молодежь с точки зрения Тамары Дмитриевны. Беда была только в том, что сходились они чаще всего у Подбельского. Что мог им дать, молодым и несложившимся, лепким, как воск, этот пожилой человек? Что он такое? Оккультист... Йог... Быть может – масон... Не дай бог, сатанист... О тайном культе Сатаны в городе поговаривали... Называли имена... Тамара Дмитриевна за работой мало что знала, но слышала о каких-то таинственных сборищах, о ксендзах, лишенных благодати. Среди приводимых в связи с этим имен называли и Подбельского. Тамара Дмитриевна боялась за дочь. Слишком впечатлительна и болезненно-восприимчива была Светлана. Ей так легко было увлечься...

В этот вечерний час, работая иглой, Тамара Дмитриевна как раз думала обо всем этом, когда в дверях появилась Светлана.

Светлана вошла к матери, одетая, чтобы идти в город. Голубая шляпка блеклого сукна, формой похожая на приплюснутый котелок, была надвинута на брови. Короткая юбка почти не покрывала колен. Желто-розовые чулки обтягивали красивые полные икры. Золотистые, вырезные башмачки закрывали только пятку и кончики пальцев. В руках был короткий, толстый, подобный старинному «мольеровскому ин-

струменту» зонтик. В узком, без корсета, точно на голое тело надетом платье, гибкая и стройная, Светлана казалась не то купальщицей на пляже, не то манекеном из большого модного магазина. Она вошла той подрагивающей плечами и бедрами, качающейся походкой, какой заставляют ходить слишком узкое в коленях платье и французские высокие каблуки и какой, подражая моделям, ходили в городе многие девушки.

Светлана сейчас показалась Тамаре Дмитриевне как-то странно чужой и далекой.

Тамара Дмитриевна видела, как красива была в блеске своей двадцатой весны ее дочь, и невольно думала о том, что таким же красивым когда-то был и ее муж, «le beau Baholdine...». Тоже чужой и далекий, весь в своих скрытых помыслах, всегда прекрасный и влекущий...

«Неужели она будет такая же?»

Тамара Дмитриевна даже вздрогнула от этой мысли. Она оторвалась от работы и, шурясь со света лампы в полумрак вечерней комнаты, сказала:

– Ты куда?

– К Подбельскому.

– Мне, Лана, очень не нравится, что ты туда часто ходишь... Холостой... одинокий... без семьи...

– Там будут Вонсовичи... Ляпочка... Стас... Ядринцев. Под покровительством вице-жениха, я думаю, можно.

Светлана села в низкое кресло против матери. Платье под-

нялось выше колен. Стали видны края шелковой палевого цвета combinaison, подобранные на резинке. Тамара Дмитриевна стыдливо отвела глаза.

«Какие моды!» – подумала она.

Светлана вынула из маленькой кожаной сумочки зеркальце и карандаш и подрисовала алые точки на верхней губе. Потом, закинув ногу на ногу, она закурила папироску. Непринужденная поза, папироска и короткие волосы придавали ей что-то жесткое, мужское.

«Garconne»⁶ – подумала Тамара Дмитриевна.

Светлана точно угадала мысли матери. Она затянулась, небрежно, по-мужски, пальчиком с выхоленным розовым ногтем стряхнула пепел, потом притушила папироску о деревянный конец ручки кресла.

– Ну, ты, мама, совсем у меня antedeluvienne⁷ – чуть хрипловатым от курения, красивым контральто сказала Светлана. – Она встала. – Я бы, мама, на твоём месте тоже волосы остригла. И красивей, и удобнее. Ни с причёской, ни с мытьём нет возни... До свидания, мама.

Тамара Дмитриевна хотела встать и перекрестить дочь. Светлана угадала её движение.

– К чему это, мама?.. Вздор... Глупости...

Она исчезла за дверью.

⁶ Холостячка.

⁷ Допотопная.

На низком круглом столе в высоком громадном кабинете Владека Подбельского горит лампа под темно-малиновым шелковым абажуром, накрытым черным кружевом.

Потолок, углы комнаты, лица сидящих на тахте, их тела, — все во мраке. Освещены только руки. По ним можно узнать сидящих. Такие они разные.

В самом углу тахты, на полных, круглых красивых коленях, почти не закрытых платьем, лежат прекрасные, крупные, девичьи руки. Пальцы розовеют к концам, украшенным прозрачным блеском сердоликовых ногтей. Полная белизна скрашена нежным рисунком тонких голубоватых жилок. Эти руки должны быть холодны и сухи при нежной мягкости. Они созданы для поцелуев. Самый взгляд на них будит грешные мысли. На них нет колец. Не нужно. Так классически красивы ровные пальцы. Это руки Светланы.

Рядом — маленькие, тонкие, с узкими пальцами, чуть загорелые руки. От них веет солнечным зноем. Одна ладонь повернута наружу: она мягкая, нежная. Розовым тоном она оттеняет коричневый загар верха другой руки. От объятий этих рук должно дышать медовым, летним теплом... Эти маленькие ручки принадлежат Ольге Вонсович.

Каким контрастом кажутся рядом толстенькие, пухлые ручки с короткими пальцами и с нехолеными ногтями у ма-

ленькой полной Ляпочки.

Ляпочка сидит на середине тахты, отделяя Ольгу Вонсович от ее брата Глеба. Руки Глеба приходится под самым абажуром и от того подернуты красноватым блеском. Они похожи на руки сестры: тонкие, длинные, но гораздо больше и с узловатыми пальцами. Его сосед Стас заложил свои руки в карманы, и на свету видны только их запястья, покрытые веснушками с густыми красно-рыжими волосами.

С другого края тахты, против Светланы, сидит хозяин, Владек Подбельский. Он весь в тени, и в сумраке кабинета со спущенными тяжелыми портьерами едва намечается его длинная, угловатая, тонкая фигура.

Говорит Ольга. Она эти дни служит вместе с Ляпочкой, ради случайного подработка, продавщицей в павильоне на выставке. Волнуясь и сбиваясь, она рассказывает о сегодняшней утренней встрече с большевиком. Настоящим большевиком, из советской республики.

– Я вся еще дрожу, – говорит Ольга красивым, вибрирующим голосом... – Сегодня подходит к нашему киоску какой-то русский. Я сразу узнала по костюму и манерам. Никогда русский в Польше не заговорит на своем языке с незнакомыми. А этот смело сказал: «Пожалуйста, объясните мне, что это такое...» И представился: «Профессор Буковкин...» Мы с Ляпочкой недогадливые, все ему объяснили, дали образчики, мило улыбались, любезно смотрели.

– Parlez pour vous⁸, – заметила Ляпочка.

– Спрашиваем, откуда он... «Из Москвы. Еду в Берлин». —

«Ну, как в России? Вы обязаны туда вернуться?» – Он был румяный, откормленный, веселый, улыбающийся, с шутивым видом. Отлично, по моде одет. Тут меня вдруг сразу осенило, что он такое, и от негодования у меня даже в глазах потемнело. «Как же, непременно вернусь. Сейчас я в Берлин... потом в Наугейм... Оттуда домой... Я в научной командировке. У нас теперь все хорошо, новый строй установился твердо, наука идет быстрыми шагами вперед. Жизнь вошла в норму. Народ испытывает счастье подлинной свободы». – «А как же, – воскликнула я, – шестьдесят расстрелянных и тысячи замученных из-за Войкова?» Он засмеялся. «Ну, – сказал он. – Во-первых, только двадцать, а не шестьдесят. Во-вторых, советской власти надо было показать свою силу, чтобы остановить эти безобразные убийства. Если хотите меня спрашивать, я буду вам отвечать. Только не надо запальчивости. Я не хочу говорить вам неприятностей, но поддерживать ваших иллюзий я не буду». – «У вас наверху одни жида», – выпалила я. «Хе-хе, – усмехнулся он. – Ну, далеко не одни жида. Крестьяне и интеллигенция тоже участвуют во власти. Вообще большевики эволюционируют». – «Большевики эволюционировать не могут. Впрочем, понятно, что вы так говорите. Вы, верно, боитесь, что за вами сле-

⁸ Говорите за себя.

дят... Во всяком случае нам рассказывать про эту эволюцию бесплодно. Хороша эволюция! А беспризорные дети?» – «А что ж беспризорные дети?» – спросил он меня. «Да ведь это ужас, – то, что растет у вас в советской республике. Целое поколение аморальных людей, убийц, воров, грабителей, насильников... Что же будет, когда они вырастут?» Он покачал головой. «Они никогда не вырастут», – спокойно сказал он. – «Как не вырастут? Что же они так навеки и останутся детьми?» – «Одни умрут, а других просто уничтожат, когда надо». – «Боже мой, что вы говорите? – воскликнула я. – И так спокойно?» – «Печальная необходимость», – ответил он, пожимая плечами. «Вы готовите войну всему миру и прежде всего нашей милой Польше», – сказала я. «Войны мы не начнем, но защищаться будем с ожесточением... Ваши русские эмигрантские газеты, откуда вы черпаете свою информацию о нас, произвели на меня очень, очень несерьезное впечатление. На деле все в России не так. Мы привыкли, сжились с нашим советским строем и любим его». – «Любите? – воскликнула я. – Любите цареубийц, развратителей детей? Любите палачей? Простите, но вы не русский человек». Он искренно и весело рассмеялся: «Хе-хе-хе... Ну, и пускай не русский. От этого я не меньше доволен жизнью. У нас наука процветает. Я работаю в клинике. Правда, я не могу иметь ни своего кабинета, ни частной практики». – «Какая же это свобода?» – перебила я. «У нас свобода для рабочих. Для буржуазии пока нет свободы. Но зато какой подь-

ем в массах! Сколько пафоса! Какой идеализм!..» Тут я не могла больше выдержать. – Голос Ольги стал напряженным. Ее ручки с тонкими пальчиками нервно двигались. Ладони то раскрывались, показывая розовую мягкость кожи, то сжимались в маленькие, темные кулачки с бронзовым весенним загаром. – Я выскочила из павильона. Я вся тряслась... Не знаю, на кого я была похожа в эту минуту.

– На торговку с Парижского рынка, – вставила Ляпочка.

– Ну уж! – Ручки Ольги разжались и розовые пальчики растопырились. – Скорее на кошку, которую атакует злобный фокс. Так вот... Я подступила к нему. «Идеализм?» – крикнула я. – А что вы сделали с религией? Замученные священники, медленная смерть в заточении патриарха, загубленные дети, поруганные церкви... Это идеализм?...» – «Это все было раньше. Теперь этого нет», – с невозмутимым спокойствием, но уже без шуточек ответил советский профессор. «Раньше?» – наступала я на него. – На днях заточили в тюрьму митрополита. А Соловки?...» – «Соловки? Это что такое? Я не слыхал. Не знаю». Тут, кажется, я уж совсем, как парижская торговка, уперлась кулаками в бедра: «Не знаете? Так вот в Берлине узнаете. Туда из Соловков многие бежали и рассказывают про все прелести вашего советского рая. Там знают, что такое Соловецкий Слон». Тут уж напала на него и молчавшая до сих пор Ляпочка: «Вы посылаете своим представителем к нам, сюда в Польшу, цареубийцу, мерзавца Войкова!»

Пухлые ручки Ляпочки развелись по коленям, подтверждая рассказ Ольги.

– «Войков? – Тут лицо у советчика передернулось и он покраснел. Точно оторопел. Однако тотчас оправился. – Но это талантливейший человек. Кого же он убил?» – «Беззащитную семью». Мне казалось, что я разрыдаюсь. «Какую»? – «Романовых». – «Разве?.. Я не знал». – «Вы, очевидно, многого не знаете...» Тут кто-то подошел к нам и он, уже не кланяясь и не оглядываясь, стал поспешно удаляться. Весь день я не могла успокоиться. Я ничего не могла есть. Мне было душно, мерзко и противно, точно в руках держала какого-то скользкого гада.

Ольга замолчала и, волнуясь, тяжело дышала.

Руки Светланы, до тех пор спокойные, с силою сжались в кулаки. Даже пальцы порозовели от напряжения. Владимир смотрел на них и такие неподходящие к моменту мысли шли ему в голову. Прикоснуться бы к этим розовым пальцам с белыми между косточками впадинками и начать бы считать с ласковой шутливостью: январь, февраль, март, апрель...

Светлана вздохнула. Короткое платье поднялось еще выше, и она красивым движением обеих рук поправила его.

– У меня сегодня на душе почему-то тревожно, – сказала она низким, грудным, точно издали идущим голосом. – Всю ночь снилась вода. Внезапный разлив реки, повернувшей назад. Вода была такая мутная...

Она замолчала. Все притихли, прижавшись в сумраке к

спинке тахты.

– Только подумать, – продолжала Светлана. – Мой отец там... с ними... Я знаю, хотя мама и скрывает. Я помню все... Он им служит... Этим дьяволам... Когда все это кончится?..

Из темноты послышался спокойный, твердый голос. Говорил Глеб:

– У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их. Ибо близок день гибели их, скоро наступит уготованное для них...⁹

4

Светлана долго раскуривала папироску. Спичка освещала снизу ее лицо. Глаза были опущены и прикрыты длинными, загнутыми кверху ресницами. Спичка погасла. Светлана затянулась папиросой. Красная точка сверкнула в темноте.

– Никогда они не погибнут... Мы погибнем, а не они, – сказала Светлана. – Когда они зашатаются, тысячи рук из Варшавы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, тысячи красных рук пролетариата протянутся, чтобы поддержать их и помочь им. Я часто думаю о том, что там. Вы читали «Голос из бездны»? Вы читали Мельгуновскую «Че-ка», или записки индуса Курейши, пять лет без вины томившегося в советских тюрьмах?.. Неужели могут существовать на земле та-

⁹ Второзаконие. Гл. 32, ст. 35.

кие кошмары? Неужели могут быть такие жестокие люди?.. «Вы говорите: “Мне отмщение”, – сказал Господь. Да ведь Господь-то все это видит и слышит. Ведь Он всеведущий и вездесущий... А Он молчит. Так где же Его милосердие и справедливость?.. Если бы Он был подлинно милосердным, разве мог бы Он вынести весь ужас страданий хотя бы только беспризорных детей?.. Детей, которых Он сам призвал к себе...» Не мешайте детям приходить ко Мне...» Страдания юношей, героев, за Него кладущих свою душу... Стариков... За что замучен красными Эльвенгрэн? Как мог Господь допустить страдания и смерть старого князя Павла Долгорукова? Как может допустить Господь везде и всюду, во всем мире торжество злых, гнусных и подлых людей?.. – Светлана вздохнула. – Что же? – продолжала она. – Значит, Бог хочет гибели всего лучшего в людях? Гибели детей?.. Гибели России?.. Хочет... Да... А мы молимся ежедневно: да будет воля Твоя... А Его воля – нас, Россию, погубить... Зачем же я буду молиться Ему?.. Надо тогда молиться другому. Просить того, другого, восстать на Бога и спасти Россию... Помешать Богу погубить Россию.

Светлана сказала это одним духом и без малейшего колебания. Она говорила то, что ее мучило все это время. Противоречие между тем, чему учила мать, говоря о Боге и России, и тем, что было в действительности.

Ольга, Глеб, Лапочка, Ядринцев, даже плотный рыжий Стас притихли от ее слов. Эти слова звучали дерзким и

страшным вызовом. Особенно здесь, в этом кабинете, где в старых толстых книгах, стоявших рядами на резных полках за стеклами, казалось, были скованы какие-то тайны, неизвестные, опасные силы.

– Мне рассказывали, – бросая в пепельницу под лампой папиросу, начала опять Светлана. Ее лицо, на один миг нагнувшееся к столу, в отсвете красного абажура казалось суровым и гневным.

– Мне рассказывали: там красноармейцы, ночью, улягутся по койкам и под шинелью, тайно, крестятся. Явно не смеют. И такую молитву Бог не принимает... Нет, Бог, должно быть, бессилен. Надо д р у г о м у молиться... Надо молиться дьяволу.

Она снова чиркнула спичку. Ее руки дрожали и огонек не мог сразу найти папиросы.

– Может быть, вы и правы, – холодно и неторопливо сказал Подбельский. – Если Бог не хочет помогать людям, они приходят к мысли искать помощи у Сатаны. Не вы первая это говорите и не вы первая это думаете. В истории человечества, когда люди отчаивались в Боге или когда они видели, что Бог отказывается помочь им, нередко обращались к Сатане.

– И что же? – поворачивая голову в сторону говорившего, спросила Светлана. – Сатана им помогал?

– Как когда... Чаще лгал. Впрочем, иногда и помогал, но дороною ценою. Ценою преступлений и ужасов.

– Больших ужасов, чем теперь в России, не может быть, – глухо сказала Светлана.

– Об этом есть целая литература, – продолжал Подбельский.

Он встал, подошел к книжному шкапу, не глядя вынул пачку небольших книг и бросил на стол.

– *Bibliothèque Chacornas*, – сказал он. – В Париже, конечно... Это главное издательство оккультных книг. Сатанизм идет с Запада, он развился рядом с католичеством. Православие тоже знало Сатану, но оно в нем видело просто черта и как-то лучше умело с ним справляться. В православии нет того, так сказать, любопытства к дьяволу, которое присуще католицизму. Католики подошли к Сатане вплотную. У православных отход от Бога превращался в простое равнодушие. Только у католика, где религии присуща страстность, он мог породить сатанизм. Только католики могли создать литургию Сатане, так называемую черную мессу.

– Когда и как это случилось? – спросила Светлана.

– Очень давно. В дни ужасов, подобных тем, которые переживает Россия. В тысячном году было предсказано Светопреставление, кончина мира. В Европе был страшный голод. Все было съедено. Почти не осталось домашних животных. Дичь была истреблена, люди питались древесной корой и травой. А голод все усиливался. Выкапывали из земли трупы и пожирали их.

– Как у нас в 1921 году, – вздохнул Владимир.

– Слабые ели мертвечину. Сильные охотились за живыми людьми. Подстерегали прохожих на больших дорогах и убивали их, чтобы насытиться. Приманивали детей обещанием накормить, а потом душили и поедали их. И это, говорят летописцы, длилось три года, три года, длинных, как три века. К голоду присоединилась чума. Тогда сбылись предвещения Апокалипсиса. «Конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть» прошли по Европе. «Ад следовал за ним, и дана была ему власть умерщвлять мечом и голодом». Ужас жителей был так велик, что погребали еще живых больных вместе с мертвыми.

– Как в советской республике при расстрелах, – заметил опять Владимир.

– Все ждали конца света. Людей охватил трепет страха. Они не спали по ночам. Массовые галлюцинации овладевали народом. Люди отчаялись в Боге. Тогда многие обратились к Сатане, готовые разделить алтари между Богом Добра и Богом Зла. Вот тогда и было положено начало Шабашу, церкви Сатаны, где совершалась литургия, обращенная к дьяволу, и где изрекали проклятия небу, покинувшему в несчастье человеческий род.

– Я их понимаю, – сказала Светлана. – Они были правы в своем отчаянии.

– Черные мессы, – продолжал Подбельский, – совершались во Франции уже во времена Генриха IV. Первые книги об этом относятся к XV веку. В 1440 году был состав-

лен Formicarius немцем Лидером, бенедиктинским монахом. Потом вышли *Disquisitiones magicae*, сочинение Дель-Рио, и знаменитая книга инквизитора Якова Шпренгера для руководства судьям при изобличении колдовства «*Malleus maleficarum*» – «Молот ведьм». В практике тогдашних служителей Сатаны много было страшных, диких обрядов... Дьявол всегда любил ступать в область патологии. Тут не обошлось и без евреев. Каббала сродни черной магии. До нас дошло дело Орлеанских Манихеев, открытых в 1022-м году при Роберте Благочестивом и присужденных к сожжению на костре в качестве почитателей демона. Это была своеобразная, полуеврейская, полусатаническая, секта. Они учили, что Бог имеет два лика, светлый и темный. Они отождествляли Сатану с еврейским Богом, творцом материи. Потемки человечества... Человек бродил в этих потемках в поисках света и не находил истинного света.

– Я их понимаю, – повторила Светлана. – Разве теперь мы не в таких же потемках? Не наступило ли и для нас самое ужасное Средневековье? И где теперь этот истинный свет? Все видят, что Россия своими силами никак не может спастись, и все оставляют ее гибнуть. Европе не выгодна настоящая Россия... Особенно тем, кто рядом. Что же получается? Как сильны и могущественны коммунисты! Какая у них организация и дисциплина! Все у них разыгрывается, как в оркестре под дирижерскую палочку. Их могущество сильнее всех национализмов и патриотизмов. Они постепенно отрав-

ляют весь мир. Народы Европы не видят, как загнивает их кровь. Выборные этих народов идут к ним в услужение, продают им свои нации, их честь, их благородство оптом и в розницу. За Царские бриллианты, за золото, картины и драгоценности, накопленные Российскими Государями. Не Россия своим горьким опытом спасет мир, а весь мир неминуемо станет коммунистическим... Нас ждет не возрождение России, а гибель Европы. И Бог не хочет и не может помешать этому. При таком положении дел, если Бог оставил Россию, остается обратиться только к дьяволу. Она затянулась несколько раз короткими глубокими затяжками и бросила окурочек в пепельницу. – Скажите, Владек, в чем же состояли эти черные мессы. Как там молились Сатане?

5

Подбельский развел руками.

– Простите, Светлана Алексеевна, я затрудняюсь говорить о таких вещах перед барышнями.

– Ну, мы современные, – бросила Ляпочка. – Да еще студентки. Милый Владек, расскажите нам. Мы же не дети.

– Это был, прежде всего, неистовый разврат... Человеческие жертвоприношения... Оскорбления всего святого... Кровь детей... Сладострастие убийства... Ненасытность мучителей. Довольно прочесть историю Жильде-Реца, коннетабля Франции, похитителя детей, истреблявшего их на сво-

их кровавых мессах... Извращение!.. Зверство!.. Нет, сказать «зверство» – значит оскорблять зверей. Или, например, черная месса, совершенная королевой Екатериной Медичи для выздоровления ее сына Карла IX. Это самое настоящее ритуальное убийство ребенка, только совершенное не изуверами евреями, а католиками. Во время этой мессы причастили заранее заготовленной облаткой ребенка, а потом служивший мессу ренегат-священник кинжалом отсек ему голову. Эту голову, истекающую кровью, поставили на черную облатку и принесли на стол, окруженный магическими лампами и курильницами. К столу поднесли больного Карла IX. Тогда совершитель мессы стал заклинать демона ответить на вопросы устами отрубленной головы. И вдруг разомкнулись мертвые губы и странный, будто откуда-то из далекой глубины идущий слабый голос произнес: «Vim ratiore» – «надо мною совершается насилие». Больной пришел в необычайное возбуждение. Он стал глухо и надрывисто кричать: «Уберите эту голову... уберите эту голову». Его унесли. После, во время болезни и в час своей смерти, он все повторял эти слова. Окружающие, не знавшие ничего о служении Сатане, думали, что его мучает призрак обезглавленного по его приказанию адмирала Колиньи, но его мучала эта ожившая властью Сатаны мертвая голова.

Ольга тяжело вздохнула и прошептала:

– Какие ужасы были в старые времена.

– Вы думаете, только в старые времена человеческий ум

тянулся к тайнам ада и смерти? – сказал Владек. – Нет... И тогда, и теперь, и всегда они влекли к себе человеческий разум. В золотой век Людовика XIV, «Короля-Солнца», в век мадригалов и придворной красоты, самые изящные женщины не гнушались самых черных и мрачных обрядов служения Сатане. Процесс волшебницы Вуазея на этот счет раскрыл многое. Оказалось, что черные мессы с убийством детей служились самой мадам Монтеснан, фавориткой короля, боявшейся потерять его любовь. Сохранилось установленное судом описание такой мессы. Мадам Монтеснан, обнаженная, с маскою на лице, легла на престол. На ее груди поставили распятие, а на живот чашу, и на таком живом алтаре стали служить кощунственную мессу. Когда наступил момент освящения даров, к алтарю подошла женщина с ребенком. Служивший мессу священник схватил ребенка и заколол его, собирая кровь в чашу. Этою кровью и облатками потом приобщали присутствующих... Это уже не Средние века, это пышный расцвет Франции.

– Приведший, кстати сказать, к революции, – заметил Глеб.

– И революция не спасла от Сатаны... В 1846 году в Париже служили черную мессу. На эту мессу принесли труп женщины. Над ним посадили живую женщину, усыпленную гипнотическим сном. Во время мессы усыпленная стала кричать: – «Причастите труп!.. Причастите труп...» Труп причастили. Труп поднял руку, потом ногу. Толпа кричала: –

«Победа!»

– Что же это было такое? – задыхаясь спросила Ольга.

– Гипноз... Гальванизация... Может быть, просто общая галлюцинация. Кто знает... Важно не то, что это было, а важно, зачем это было.

– Праздное любопытство, – сказал Глеб.

– Нет... Это не праздное любопытство. Это вера в силу и могущество Сатаны. Надежда при его помощи достигнуть того, чего не дает Бог. Люди исходили из тех же побуждений, как сейчас Светлана Алексеевна, которая предлагает молиться Сатане, чтобы он не дал Богу больше мучить и терзать Россию.

– А что же делать, – сказала Светлана, – если в Божьей помощи я изверилась?.. Не верить ни во что не могу. Раз я отчаялась в светлом, тянет к темному. – Ее голос был глух. Она опять курила. Может быть, десятую папиросу за этот вечер. – Когда вся душа перевернута, – продолжала она почти шепотом... – Когда нет спокойного места в сердце... В девятнадцать лет... Вы понимаете? – вдруг воскликнула она громко. – Я не могу больше слышать обо всех этих казнях, расстрелах, арестах, тюрьмах, ссылках и насилиях. За что лишили меня моей России? По какому праву у меня отняли мой Петербург? Слышите? Я хочу его!.. Я хочу вот в такую весеннюю ночь пойти на Набережную и услащать запах тополевой почки от Александровского сада. Кто смеет меня не пустить? Она моя... Россия. Он мой, Петербург...

– Успокойся, Лана, – сказала Ольга.

Маленькая загорелая ручка с длинными узкими пальцами ласково легла на полную руку Светланы.

– Не могу успокоиться, – задыхаясь, сказала Светлана. – Скажите, Владек, а теперь, сейчас... где-нибудь... совершают черные мессы?

– Даже в нашем городе.

– В нашем городе? Кто?.. Где?..

– Некий Пинский.

– Скажите, Владек, кто такой Пинский.

– Нет, не скажу, Светлана Алексеевна. И без того мы зашли слишком далеко. Могу сказать одно. Пинский – страшный человек. О нем говорят, что это «Калиостро двадцатого века». Но это слишком слабо.

– Где он живет?

– Оставим это. Довольно, господа, чертовщины, – сказал Подбельский.

Он встал, подошел к двери и повернул выключатель. Ровный, матовый свет от большого плоского фонаря, вделанного в потолок, мягко разлился по кабинету. Блеснули в углу стальные латы на манекене, на стене выявились призрачные картины большого гобелена и резные полки. Стали видны взволнованные лица гостей, сидевших на тахте.

Владек оглядел молодежь и сказал:

– Алэ, проше пане, поедемы тераз цусь зъесть...

– Не, до Савои, – сказал Стась.

– Цо до мене, то я тылько хербатэ выпіэ, – сказала Ольга.

К ней присоединились и остальные. Владек объявил, что чай он может устроить дома, и стал хлопотать. Вместе со светом куда-то ушли все мрачные призраки и страшные образы черной мессы. Стас ухаживал за Ольгой, Ляпочка трунила над нею.

– Ты посмотри, Ольга, на Стася. Как он старается для тебя. Пальцы обжег. Чем не кавалер?

– Стась настоящий пень, – смеясь, ответила Ольга. Ее милое лицо осветилось ясной, беспечной улыбкой. Короткие, по-мальчишески остриженные волосы не могли уничтожить его нежной, женственной красоты. – Ну как есть пень... – повторила она и приподнялась принять чашку от рослого рыжего Стася.

Светлана как сидела, так и осталась сидеть в углу тахты. Она была все еще во власти своих мыслей. «Надо во что бы то ни стало познакомиться с Пинским».

6

Светлана скоро все разузнала про Пинского. В городе его знали и боялись. Пинский, известный как гипнотизер и оккультист, был уже человек старый. Он жил на окраине города, недалеко от скакового поля. Про Пинского говорили, что он умеет выделять свое астральное тело и направлять его куда угодно, не считаясь ни с временем, ни с простран-

ством: в прошлое, в будущее, в любую часть света. Говорили, что он был всю свою жизнь большой сладострастник и что за ним числится много романов с женщинами самого различного положения в свете.

Слава Пинского началась еще до революции 1905 года. В Петербурге, в Фонарном переулке, было обнаружено страшное преступление. В квартире некоего инженера Гилевича были найдены следы ужасного убийства. В печи остались пепел и куски обгорелого человеческого тела. Другие куски, упакованные в бумагу, были найдены в разных частях города. Голову не могли найти нигде, и потому нельзя было определить, кому принадлежали эти останки. Так как преступление было совершено на квартире Гилевича, а сам Гилевич исчез, явилось подозрение, что Гилевич и стал жертвой преступления. Было странно одно: незадолго до этого убийства Гилевич застраховал свою жизнь в огромной сумме. Петербургская сыскная полиция сбилась с ног, ища убийцу. Никаких следов... По чьему-то совету решили частным образом обратиться к Пинскому. Пинский согласился помочь розыскам. Погрузившись в самопроизвольный транс, он вышел в астрал и направился в прошлое, в квартиру Гилевича в момент совершения преступления. Оттуда он последовал за Гилевичем и нашел его в Париже с уже купленным билетом океанского парохода в Америку. Когда транс кончился, Пинский сообщил обо всем виденном им полиции. Он назвал гостиницу, где в данное время находится Гилевич,

и подробно, с точностью очевидца, описал, как Гилевич заманил к себе на квартиру постороннего человека, убил его, разрезал тело на куски, часть сжег в печке, а часть запаковал в бумагу и разбросал по городу. Оказалось, что Гилевич симулировал свое убийство, чтобы потом при помощи брата получить страховую премию. Доложили Петербургскому градоначальнику Драчевскому. Драчевский телеграфировал в Surete Generale, в Париж. По указанному им адресу французские агенты отправились арестовать Гилевича. Когда Гилевич увидал полицию, он застрелился.

После этого слава Пинского разнеслась по всему Петербургу. Его приглашали в светские салоны устраивать свои сеансы. Он применял свою магическую силу, чтобы вымогать деньги и овладевать женщинами. В него, шестидесятилетнего старика, влюбилась одна молодая фрейлина. Скандал разгорался. Пинского выслали из Петербурга. Он поселился в том городе, где теперь жила Светлана. Перед великою войною, когда ему было уже 74 года, он появился в Берлине. Там он навел свои чары на одну молодую девушку, родственницу Императора Вильгельма, и она влюбилась в него. Говорили даже, что он тайно обвенчался с нею.

«Es ist schon zu viel»¹⁰, – сказал Вильгельм. Пинского посадили в тюрьму по обвинению в мошенничестве. Однако у него нашлись преданные и влиятельные заступники и по их настоянию его освободили.

¹⁰ Это уже слишком.

Когда немцы вошли в город, где жила теперь Светлана, Пинский вернулся в свой дом.

Ему было 86 лет. Несмотря на свою старость, он не оставил своих темных занятий. Про него говорили, что он при помощи расстриженного, беспутного ксендза тайно совершает «черные мессы».

Эти рассказы возбудили любопытство Светланы.

Смешно бояться 86-летнего старика. Что может он ей сделать худого лично? Если есть черные мессы, если есть действительно Сатана, она обратится к нему с мольбою восстать против Бога и не дать Богу разрушить Россию. Если для этого надо пожертвовать собою, она принесет себя в жертву. Если нельзя светлым, то она темным путем загладит измену отца.

В голове Светланы смешались понятия добра и зла, и все ее существо было как бы охвачено гипнозом ожидания чуда. Выход в астрал... Странствия в прошлом, настоящем и будущем. По всем странам света... По другим планетам... Это было так «безумно» интересно...

Если Сатана может сделать все это, стоит поклониться и Сатане. За такие чудеса не жалко отдать и жизнь.

Это не опиум, не кокаин, не морфий, что предлагали ей подруги и что вело к разрушению тела и преждевременной старости.

Пинскому 86 лет. А он, говорят, все еще бодр. Значит, его чары не сокращают, а продляют жизненную силу.

Так напряженно думала Светлана, отыскивая способ встретиться с Пинским.

7

Весна... В этом городе она особенно яркая, красивая и приветливая. Она – везде. В звонком цоканьи конских подков по асфальту мостовой, в тихом шелесте резиновых шин автомобилей, в воробьином писке и в хлопаньи крыльев гуляющих по подоконникам и крышам голубей. Она – в сиянии вдруг ставшего высоким и бездонным неба, в плесках солнечных отражений на стеклах открытой двери, на лакированных стенках кареты, на луже оставшейся от поливки воды. Она благоухает сиренями и ландышами. Их целыми корзинами носят девочки, протягивая букетики прохожим. В скверах и в садах молодая трава пробилась сквозь вкусно пахнущую черную землю и манит глаз свежее нежностью зеленого ковра. На круглых шапках боярышников просвечивают розовые почки бутонов. Лиловые ирисы горят прозрачными огнями под гранитными цоколями памятников. Цветочный ковер распускается на глазах, сливая зеленые и синие разводы лобелий и анютиных глазок в причудливые узоры. Садовники щеголяют пестротой садовых клумб. Окна домов раскрыты настежь. Из квартир люди выглядывают на улицу. С улицы кричат, зовут на воздух. Лица людей помолодели, покрылись легким, нежным загаром. Глаза бле-

стят. Походка шире и увереннее. С неба несется мерный, ровный, католический благовест. Он говорит о небесном. С реки налетает теплый благоуханный ветер полей и лесов: зовет к воскресающей земле.

В такие дни в кондитерской Франболи после четырех часов не достать свободного места. Кондитерская выбежала столиками, накрытыми парусиновым тентом, на улицу, завоевала половину широкой панели и слилась с уличной толпой. Совсем по-парижски. Только чище, уютнее, симпатичнее Парижских кафе на бульварах и Champs Elusecs. Маленькие столики блестят скатертями. Служанки в коротких черных платьях и белых передниках служат неслышно и внимательно.

Чтобы получить хорошие места, посидеть подольше и на славу отпраздновать окончание Политехникума Ядринцевым и Глебом Вонсович, Светлана, Ольга, Стась и Ляпочка, вместе с обоими «героями дня», забрались в кофейню с трех часов.

Кофейня была пуста. Только за одним столом сидел какой-то человек за стаканом недопитого чая.

Молодежь шумно сдвинула в углу три столика. Светлана уселась в самый угол, прямо под высоким олеандром в зеленой кадке. Против нее, спиной к улице, сел Глеб. По другую сторону Светланы поместилась Ольга, снявшая лиловую шапочку и вся сиявшая молодым весельем. С ней рядом была Ляпочка, сжимавшая руку Ольги горячею пухлою рукою.

Против Светланы сел Владимир Ядринцев. Он встревоженно большими, серыми, чуть выпуклыми глазами смотрел на Светлану. Он не слышал и не понимал ни слова из того, что она быстро и возбужденно говорила Глебу. Он видел только блистание ее синих глаз, видел, как красиво раскрывался ее изящно очерченный рот и как из-за алых губ сверкали белые влажные зубы. Он смотрел, как ветер играл ее золотистыми прядями, выбившимися из-под блекло-голубой шляпки. Все очарование весны, вся прелесть расцветающей природы, все ароматы цветов, небо и солнце сливались для него, как в фокусе выпуклого стекла, в этом несказанно красивом девичьем лице. Счастливая улыбка не сходила с его губ.

Рядом с ним в такой же, только еще более глубокой, улыбке расплылся Стась. Он был великолепен в своей студенческой «амарантовой» шапочке корпорации «Patria» и в английской рубашке с широким отложным воротником.

Как только вошли, заказали шоколад со взбитыми сливками и пирожные, много пирожных. Заговорили по-польски.

– Колер охронны¹¹, – засмеялась Ольга.

Они, говорившие дома между собою по-русски, на улице и на людях говорили по-польски, чтобы не навлекать на себя косых взглядов.

– Панно Светлано, я пани видялэм вчорай на улицы, – сказал Ядринцев.

– Цо? – рассеянно обернулась Светлана, прервав свой рас-

¹¹ Защитный цвет.

сказ Глебу.

Она была очень возбуждена. Сегодня она решила пойти к Пинскому. Вчера она ходила к его дому. Она долго разглядывала этот каменный мрачный особняк, стоявший в глубине небольшого сада, окруженного высоким деревянным забором. В ясном свете весеннего вечера покрашенные желтой охрой доски глухой сплошной ограды, казалось, хранили за собой безмолвие какой-то тайны. Все равно, хотя бы то была тайна смерти, Светлана переступит ее сегодня и узнает то, что открыто немногим. Она никому не говорила о своем решении, боясь, что ей помешают. Но все в ней дрожало скрытым волнением и потому она была сегодня особенно возбуждена и интересна.

– Посмотрите, Глеб, на того господина, что сидит через столик от нас. Мне кажется, что он нас слушает.

Сидевший был стройный человек, высокого роста. Он был безукоризненно одет в штатское платье, которое сидело на нем с особым спортсменским шиком. Легкий костюм из серой дорогой материи был надет точно в первый раз. Крахмальный отложной воротник, модный, пестрый галстук, зашпиленный дорогой булавкой, серые брюки с острою складкой, американские башмаки – все было элегантно, красивое и не дешевое. Его бритое лицо было покрыто тем особым, мужественным загаром, который дается не ленивым лежанием на согреваемом солнцем пляже, а суровыми ночлегами у костра, на морозе, пребыванием целыми месяцами на воз-

духе. Вместе с тем лицо это было тонко, барски породисто и солдатски закалено. Из-под слегка примятой серой шляпы с широкими, небрежно загнутыми полями остро смотрели сине-серые, стальные глаза. Их сильный, упорный, волевой блеск был притушен длинными ресницами. Трудно было определить, сколько ему лет. Светлана мысленно давала ему двадцать пять и пятьдесят. Он держал в руках газету, обернув ее название к улице, но, видимо, не читал ее. Газета была английская, «Times». Он давно держал ее все в одном положении.

– Как думаете, Глеб, кто это такой? Может быть, авиатор... У него глаза, как у орла, что глядит сквозь тучи на солнце... Такие глаза бывают у авиаторов... Впрочем, нет... Он слишком, пожалуй, строен и мускулист для авиатора... Он, видимо, много ходил и много ездил. Ольга прислушалась к ее словам.

– А как ты думаешь, Светлана? Это русский?

– По-моему, англичанин... Вряд ли поляк.

– Ты думаешь, он нас не слышит?

– Он не слушает нас. Он кого-то ждет. У него, наверно, любовное свидание.

– Посмотрим, кто его предмет, – перегибаясь через Ольгу к Светлане, сказала Ляпочка. – Я вам скажу только одно. Я не влюбчива. Но в такого «типа» я бы влюбилась с головой.

Светлана, осторожно макая мягкую рассыпчатую вафлю в шоколад, быстро рассказывала Глебу о том, что она узнала на этих днях.

– Слушайте, Глеб... Я бы хотела, чтобы вы поняли то, чего я не понимаю, и объяснили мне. Представьте себе: мысль... Вот я думаю: это мысль. А от нее идет, излучается волна, подобная волне беспроводного телеграфа... Говорят, эту волну можно уловить и тогда явится возможность читать мысли человека.

– Ну уж, – возмутилась Ольга, слушавшая Светлану. – Благодарю покорно. Этого только не доставало. Тогда уж и думать нельзя. Всякий узнает.

– А ты не греши в думах... Если волна моей мысли достаточно сильна, я могу направить ее на другого и заставить думать так же, стать моим единомышленником этого другого. Вы понимаете, Глеб? Образуется как бы цепь мыслей, как в гальванической батарее. Рождается живая сила мысли. То, что называется у оккультистов «эгрегором». Впрочем, может быть, эгрегор не то. Вы меня остановите, если я говорю глупости. Отсюда – масонство. Почему люди, умные, добрые, хорошие, честные, идут в масоны? Ведь они, как я слышала, не знают, кому они подчинены, чему они служат. А идут... Почему масоны – такая сила? Да потому, что их

единомыслие, связанное внутренней дисциплиной, создает сильный эгрегор, заставляющий и других людей, посторонних масонам, думать, как они. Вы понимаете этот способ завоевания человеческой души? Ведь это сильнее, чем порабощение тела. Вот теперь взять коммунистов. Они создали свою единую ненавистью ко всей христианской цивилизации такой могучий эгрегор, что он порабощает умы масс. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» – это и есть создание мыслевой страшной силы, создание всепорабощающего эгрегора. Ну какой же коммунист насквозь буржуазный, скопидомный француз? А вот, подите же. Он идет под красное знамя, сам готовя себе гибель. Парламенты бессильны бороться с коммунизмом. В парламентах – партии. В парламентах – борьба. Туда проникли те же коммунисты. Там уже нельзя создать общей мыслевой батареи, и эгрегоры правительств оказываются слабее эгрегора коммунизма. Вот что ужасно. Вот что мне не дает покоя.

Светлана говорила все это по-польски. Ядринцев напряженно ее слушал, стараясь сквозь чарующую прелесть ее оживленного лица понять все то, что она говорит. Ему хотелось самому вставить свое слово и он, наконец, сказал, запинаясь и смущаясь своей неправильной польской речью:

– Вы поймете, вы розумите, проше пани. Коммунизм, он от шатана, то конец нации... Каждой, и польской также. Пшеба вольчить, пшеба вшистким, вшистким взятьсс за рэнки и скрушить иего.

Светлана покачала головой.

– Ах, если бы тут был только Сатана. Может быть, и удалось бы уговорить Сатану оставить Россию.

Она напряженно смотрела на улицу. Глеб и Ядринцев невольно повернулись в ту сторону, куда устремились ее блестящие, синие глаза.

Из толпы прохожих, становившейся все гуще, – четвертый час был уже на исходе, – выделился статный молодцеватый крестьянин. Он был одет, как одеваются земледельцы в Галиции или в Витебской губернии. На голове, остриженной в кружок, была небольшая, белая, круглая шапка. Белая свитка грубого домотканного крестьянского сукна была запахнута наискось. Косой ворот был обшит белой дубленой кожей. Белый ручник, скрученный жгутом, опоясывал свитку. Одежду дополняли добротные высокие сапоги. Он подошел к кондитерской и окинул сидевших за столами взглядом своих зорких глаз. Он быстро заметил незнакомца в сером костюме. Тот встал, продолжая держать, точно на показ, английскую газету. Крестьянин подошел к нему, сдернул с солдатской отчетливостью шапку с головы, что-то доложил вполголоса незнакомцу и повернулся назад. Господин в сером вышел за ним вслед на улицу. Проходя мимо Глеба и Светланы, он вдруг приостановился. Его стальные глаза со странной силой пронзили Глеба.

– Глеб! – сказал он негромко, но отчетливо. – Когда будете готовы заслужить Родину, пойдете за мной.

Он говорил на безупречном русском языке.

Глеб машинально встал, за ним поднялся Ядринцев. Они оба стояли против незнакомца и смотрели на него не понимая.

– Помните одно, – строго, точно внушая им свою мысль, продолжал незнакомец: – Коммунизм умрет, Россия не умрет.

Он повернулся и быстро вышел за ожидавшим его крестьянином в белой свитке.

9

Когда Светлана вернулась домой, ее мать молча подала ей газету и пальцем указала то место, где читать. В газете коротко сообщалось, что в Германии, в курорте скончался от болезни сердца видный коммунист и член Реввоенсовета Бахолдин. Тело его заботами советского правительства сожжено во Франкфурте. Прах в почетной мраморной урне отправляется в Москву, где будет заложен рядом с прахом Красина в Кремлевской стене.

Светлана прочла заметку и подняла на мать большие синие глаза.

– Ты знаешь, Лана, кто это?

– Да, мама.

– Ты его помнишь?

– Смутно. Очень немного... Тебе его жаль, мама?

– Он умер для меня в тот день, когда пошел служить дьяволу.

Светлана вздрогнула. У нее забилось сердце. Но она овладела собою и тихо спросила:

– Ты будешь служить панихиду?

– Нет... К чему? – сказала холодно и враждебно Тамара Дмитриевна. – Он ни во что не верил... Он был атеист.

Светлана пожала плечами. Она хотела возразить матери, что тем более о нем надо бы помолиться, но вспомнила, что она сама потеряла веру в Бога. Гордое чувство опять заговорило в ней. Она, через дьявола, сделает для отца и для Родины больше, чем все эти люди могли бы сделать через Бога. Она будет как Жанна д'Арк. Только Жанну д'Арк призвала на подвиг Богоматерь и она пошла, окруженная светлыми силами. Она, Светлана, пойдет, окруженная силами тьмы. Пинский научит ее овладеть тайною бытия. Она станет, как и он, выходить в астрал. Она узнает прошедшее, настоящее и будущее. Люди ходят за советскую границу на разведку и гибнут там, либо томятся в тюрьмах, ничего не узнав. Без пользы. Она невидимым духом войдет в Кремлевские тайники, она узнает все... Она тайною силою поразит и уничтожит вождей большевизма. Разве этого нельзя? Сатана может все. С его помощью она создаст новый, мощный эгрегор для борьбы с большевиками и поразит их. Ей казалось, что она выросла за эти несколько минут. Она встала и выпрямилась. Положительно, она стала выше ростом. Светлана подо-

шла к зеркалу и надела на завитые волосы синюю шапочку. Подрисовала губы: всего две точки наверху, а как красиво! В складке рта явилась влекущая прелесть. Чуть положила розовой пудры на щеки, у самых глаз. Какие длинные ресницы! Какие глубокие большие глаза! Они хранят тайну, которой не узнает никто. Не через них ли выйдет ее астральное тело, чтобы потом вместе с монадою духа помчаться в далекое странствие?

Светлана была в том же коротком, почти не прикрывающем колен платье, в котором была у Франболи. Она повернула зеркало, чтобы видеть ноги. Они такие красивые в палевых шелковых чулках... Прелестные башмачки. Только все уже чуть-чуть поношено. Вот на правом чулке еле заметная подштопанная дырочка. Ничего. Сатана даст и богатство.

– Куда ты, Лана?

– Я к Ольге.

Светлана в первый раз солгала матери.

«Ничего, – подумала она. – Надо привыкать».

– Посидела бы со мной, – робко сказала Тамара Дмитриевна.

– Ты все-таки грустишь, мама?

– Нет... Я уже сказала тебе. Да и слишком давно все это было. Десять лет назад... Мне просто не по себе.

– Ну, до свидания, мама.

Свежие губы коснулись щеки Тамары Дмитриевны. Пахнуло запахом душистой пудры – нежным девичьим запахом.

Светлана накинула белую шаль с вышитыми шелком, киевским швом, цветами, – Ляпочкина работа, – и скользнула за дверь.

Светлана хорошо знала дорогу. Доехав на трамвае до самого конца, она торопливо пошла по небольшой улочке в направлении скакового поля. Тут было пустынно. Высокие заборы и сады скрывали небольшие дома, похожие на дачи.

Дом, который ей был указан, имел нежилой вид. Серые ставни были закрыты. На диком камне стен искрились слезы росы. Дом глядел навстречу Светлане таинственно и загадочно. Казалось, сквозь щели ставен чьи-то глаза следили за нею. Светлана хотела спросить у кого-нибудь, тот ли это дом. Но кругом не было никого. Вдали шумел весенним шумом город. Трубили чуть слышные гудки автомобилей. Где-то далеко как будто играл оркестр. У ворот нигде ни дощечки с именем, ни надписи. Тяжелой, холодной, железной петлей висел рычаг колокольчика. Светлана остановилась перед ним в нерешительности. Наконец, решилась.

Она потянула рукоять. Звонок раздался глухой и деревянный. Ударил два раза и тотчас, будто кто-то уже ждал ее за высокой, разбухшей от сырости калиткой, калитка открылась.

Старик, с седыми волосами, в черном узком пальто до пят, стоял против Светланы и вопросительно смотрел на нее немигающими серыми глазами.

– Цо вельможна пани себе жычи?

– Пан Пинский дома? – по-польски спросила Светлана.

Старик сделал пригласительный знак рукою, пропустил Светлану вперед, тщательно запер двери и пошел за ней.

В высоком, полутемном, пыльном вестибюле был стылый, почти зимний холод. Тяжелая дубовая лестница, изгибаясь вдоль стен, двумя маршами шла во второй этаж. Старик пригласил Светлану следовать за собой и стал подниматься по лестнице. На площадке он постучал у тяжелой двери.

– Да, да, – раздался негромкий, твердый голос.

Старик пропустил Светлану за дверь.

Три стены потолка были уставлены полками с книгами. Книжный запах тлеющей бумаги стоял в комнате. Против окна помещался громадный стол, заваленный книгами, рукописями и бумагами. Из-за него навстречу Светлане поднялся сухой человек среднего роста в длинном черном сюртуке. Седая узкая борода закрывала рубашку. Лицо было пергаментно-желтое, но без морщин. Из-под седых кустистых бровей пронзительно смотрели на Светлану глубоко запавшие глаза. Их зрачки были странно расширены, и Светлане казалось, что два больших черных отверстия остро смотрят на нее своей блестящей глубиной.

– Чем могу быть полезен? – сухо спросил человек.

Светлана так растерялась, что долго не могла ничего сказать.

Все в ней дрожало внутренней дрожью. Взгляд стоявшего перед нею был суров, властен и надменен, и Светлана почув-

ствовала себя перед ним маленькою и ничтожною. Ей стало страшно за свое дерзкое вторжение. Однако хозяин точно читал ее мысли.

– Успокойтесь, – сказал он.

Его голос был звучен, негромок и красив. Он напоминал голоса ксендзов, беседующих с прихожанами. Все еще не приглашая ее сесть, он подал ей папиросы и спички.

– Курите, – сказал он, – это успокаивает.

Светлана закурила, втянула дым двумя-тремя сильными затяжками и тихо, с покорною мольбою в голосе, сказала:

– Вы пан Пинский? Я не ошибаюсь?

– Да, я Пинский.

– Пан Пинский... Я пришла к вам... – Светлана замялась, не находя слов.

– Если ясновельможна пани пришла ко мне гадать, я этим не занимаюсь.

Светлана молчала. Опустив голову, она перебирала концы своего шарфа.

– Нет, – наконец сказала она. – Я пришла за более важным... Мне говорили, что вы можете усыплять... Можете выходить в астрал... Можете колдовать.

– Кто вам говорил такой вздор?

– Я... – Светлана чуть не плакала. – Я готова... я согласна... Сатане... если он может...

– Глупости... Глупости, – сказал Пинский. – Бабы сплетни... пустые городские слухи.

Он внимательно с головы до ног осмотрел Светлану. Светлана вспыхнула. Ей показалось, что он видит сквозь платье ее тело и читает ее мысли.

– Садитесь, – сказал Пинский, указывая на тяжелое кресло. Он сел рядом на таком же кресле. – Колдовать?.. – сказал Пинский. – Как это нелепо. Люди смотрят на это, как на фокусы ярмарочного волшебника... Дайте вашу левую руку.

Светлана протянула Пинскому свою полную красивую руку. Сухие, точно из одних костей, обернутых кожей, длинные пальцы взяли ее, и острые глаза впелись в ладонь.

– Светлана... – сказал Пинский... – Вас зовут Светланой. Очень впечатлительны... нервны... До десяти лет жили в богатстве... Гм... Отец... да... отец...

– Он только что умер, – воскликнула Светлана.

– Да знаю же... Знаю, – резко перебил Пинский. – Умер... Н-да... Хорошо... Я займусь вами... Очень хорошо... Отец... Ну да... мать, положим... Прекрасная женщина, ваша мать... Мало вы ее цените... Да... отец... Ну хорошо... Прежде всего надо, чтобы вы мне верили.

10

Пинский оставил руку Светланы и взял с письменного стола тяжелое, плоское, каменное пресс-папье.

– Возьмите это... Камень?

– Камень, – робко ответила Светлана.

– Твердый?

– Очень твердый... Я думаю, это оникс.

– Агат! – сердито крикнул Пинский. – Самый твердый камень. Чтобы из него сделать какую-нибудь фигуру, китайцы точат его годами.

Он надавил своими тонкими пальцами пресс-папье, и оно подалось под ними, как воск. Он стал быстро мять его, лепить, формовать. Несколько минут оба молчали. Светлана с удивлением и ужасом смотрела, как из камня выходили тонкие полупрозрачные лепестки. Казалось, жилки можно было ощущать на них. Появился стебель, за ним тычинки, пестики, развернулся сбоку листок.

– Лотос, – передавая великолепный каменный тяжелый цветок Светлане, сказал Пинский. Он улыбался. Сухие губы растянулись, обнажая черное отверстие рта. Крючковатый, тонкий нос навис над белыми усами. – Ударьте пальцами. Звенит?.. А?

Лепестки звенели каменным звоном. Они были выточены из агата.

Светлана протянула обратно цветок Пинскому. Ей было страшно его держать. Пинский взял его, провел между ладонями и небрежно бросил на стол. Глухо и тяжело ударилось о доску стола бесформенное плоское пресс-папье.

У Светланы кружилась голова.

– Ну-с, панна Светлана... Может быть, с вас довольно... Посмотрели и идите себе домой. Вы понимаете теперь, что

это уже не шутки.

– Ах, нет, нет, – простонала Светлана. – Напротив... Я так хочу.

– Что хотите?

– Все... Власть... над временем... над пространством.

– Пустое.

– Видеть страну... где лотосы...

– Пустое.

Пинский подошел к окну и широко раскрыл его.

Светлана отлично помнила, что она была во втором этаже и деревья сада были выше дома. Сейчас она их не видела. Беспредельная синь вечеряющего неба открылась перед нею. Без конца тянулись просторы. Они влекли к себе. У Светланы было такое чувство, точно она поднялась на высокую башню. Пинский смотрел Светлане в глаза. Его взгляд был неподвижен и страшен. Этот взгляд, казалось, испытывал, готова ли она.

– Встаньте сюда, – показал Светлане Пинский на подоконник.

Светлана послушно встала на окно. Ни сада, ни города не было видно кругом. Дом как будто плавал в густом синем тумане.

Светлана ощущала на своем затылке взгляд Пинского. Ей казалось, что у нее там шевелились волосы, точно кто тихо дул сзади. Как сквозь сон, она услышала приказание:

– Прыгайте вниз.

Она сделала шаг вперед, вытянула ногу. Что-то крепко и сильно будто ударило ее по затылку.

В ушах загудел быстро несущийся навстречу воздух. Какая-то мягкая сила подхватила ее, подняла кверху и со страшной быстротою помчала вперед.

Светлана, закрывшая было глаза, открыла их...

Все ее чувства сохранились, стали даже острее, но себя она не ощущала. Она неслась над землею, должно быть, на страшной высоте. Она слышала гудение воздуха. Она видела, как быстро темнела под нею земля, облитая красными закатными лучами солнца. Эти лучи на ее глазах гасли, сменялись сумерками, темною ночью. Вдруг вдаль показалось светлое, туманное пятно. Оно становилось более ясным, открывались огневые зарева фабрик, гирлянды ярких фонарей, бегущих навстречу прихотливым узором. Светлана слышала нудный запах копоти, угля и керосиновой гари. Это продолжалось всего несколько мгновений. Теперь снизу уже доносился влажный запах травы и лесов... То холод охватывал Светлану, но он не был мучителен, то было жарко, но эта жара не томила. Впереди золотом загорелся рассвет. Была золотая степь. Над нею обрывом, наискось поднималось плоскогорье, все зеленое от садов. Точно белая жемчужина горела на его краю. Светлана легко и плавно, как мотылек, спускающийся к цветку, приближалась к ней. Стали видны огромные размеры этой жемчужины. На ней отрази-

лись розовые отсветы восходящего солнца. От земли неслись радостный писк и пение птиц. Зелеными точками порхали кругом те самые неразлучные попугайчики, которых Светлана видела когда-то в детстве, в Петербурге, в Биржевом саду.

Перед нею был храм из белого мрамора, с большим круглым куполом. Светлана стала на землю. Она с изумлением смотрела на дивные очертания храма. Как тончайшее кружево, сквозила сложная резьба его портиков. Над большими дверями из бронзы змеились золотом арабские, причудливые буквы надписи. Над белой громадой храма порхали зеленые попугаи, садились, как воробьи, вдоль верхнего карниза, и живая изумрудная лента опоясывала стены.

Вокруг храма был сад. Прямоугольный, длинный, выложенный узорным мрамором бассейн, обсаженный пестрыми цветущими растениями, уходил в глубь сада. Громадные тamarиски обступили его. Вода голубела, блистая золотыми точками в бассейне. Стаи красных рыбок играли на солнце. Высокие эвкалипты с прямыми, точно выкованными из железа стволами опускали вниз свои нежные тонкие листья. Ближе к самому храму пальмы с мохнатыми, шерстистыми, бурыми стволами раскинули пестрые веера своих длинных ветвей, и в золотой солнечной раме прозрачным зеленым опахалом раздвинул громадные листья высокий банан.

Земля выдыхала влажное дыхание корней, трав и цветов, и воздух был напоен густым и пряным ароматом, как воздух оранжереи. Светлана ходила взад и вперед по саду, вдоль

мраморного бассейна. То она приближалась к храму. Дивилась его громаде. Разглядывала тонкую каменную резьбу его портиков, любовалась маленькими птичками, порхавшими кругом... То уходила на самый край сада, откуда был виден храм весь целиком, на фоне синего, голубого неба. Легким и воздушным казался он, подобный мечте, воплощенной в мраморе...

У ее ног по краю бассейна ползла черная с ярко желтыми пятнами саламандра, прелестная в своем безобразии. Зеленые ящерицы играли на камне. То быстро, извиваясь, бежали они, то замирали на солнце. Из чащи гранатовых кустов, между стволов тутового дерева выступил голубой павлин. Корона из тонких палочек с шариками дрожала на его голове. С трепетным шелестом он развернул свой золотисто-зеленый хвост, усеянный темно-синими глазками. Солнце играло на его нежных перьях.

Светлана в восторге запрокинула голову к синему небу. В небе, широко раскинув крылья, тихо парил орел.

Опять острый, мучительный удар в затылок – так начиналась у нее всегда мигрень. Светлана очнулась.

Она глубоко сидела в мягком кожаном кресле. Против нее сидел Пинский. Комната – во мраке. В открытое окно вливалась ночная свежесть. Совсем близкими казались глядевшие в окно темные березы в молодой, сладко пахнущей листве. Город затих. Где-то далеко прогудел поезд. Была поздняя

ночь.

– На первый раз довольно, – сказал Пинский.

– Когда же еще? – вздохнула Светлана. – Это был такой чудный сон.

– Не совсем сон, – сказал, как бы про себя, Пинский. – Приходите по вторникам. В это время... К семи... Посмотрим...

Он проводил Светлану до калитки. Она с трудом дошла до остановки трамвая. Голова болела. Точно железный обруч давил виски. Над бровями ныло. В глазах была какая-то рябь. Ноги с трудом несли усталое тело. Девушка чувствовала себя разбитой, как после долгого путешествия.

11

Светлана избегала теперь людей. Ей не хотелось видеть ни Вонсовичей, ни Ляпочку, ни Ядринцева. Особенно избегала она последнего. С матерью была часто груба и отвечала на ее вопросы с капризной резкостью: «не твое дело...», «да», «нет», «голова болит...» «Оставь, мама... Тебе не понять...»

Она жила от вторника до вторника. От одного чудного сна до другого, от полета до нового полета, всякий раз еще более захватывающего. Остальные дни недели она выходила из дому очень рано и, с книгой под мышкой, спешила в большой пригородный, дворцовый сад. Там она забиралась в самую глушь, где не было прохожих, в аллею, где сирень, жи-

молость, бузина и калина сплелись тесною стеною и где белая скамейка совсем была закрыта листвою. Она садилась там, развернув на коленях книгу. Она ее не читала, от чтения только болела голова и темнело в глазах. Она закрывала их. Тогда сладкая истома охватывала ее всю, тихо отходила боль, и Светлана снова и снова переживала свои волшебные сны.

В эти часы она сознавала, что это не были сны. Это было волшебство, которого она искала. Сила, что была ей нужна. Если эта сила от дьявола, пускай. Она примет ее и от него.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.